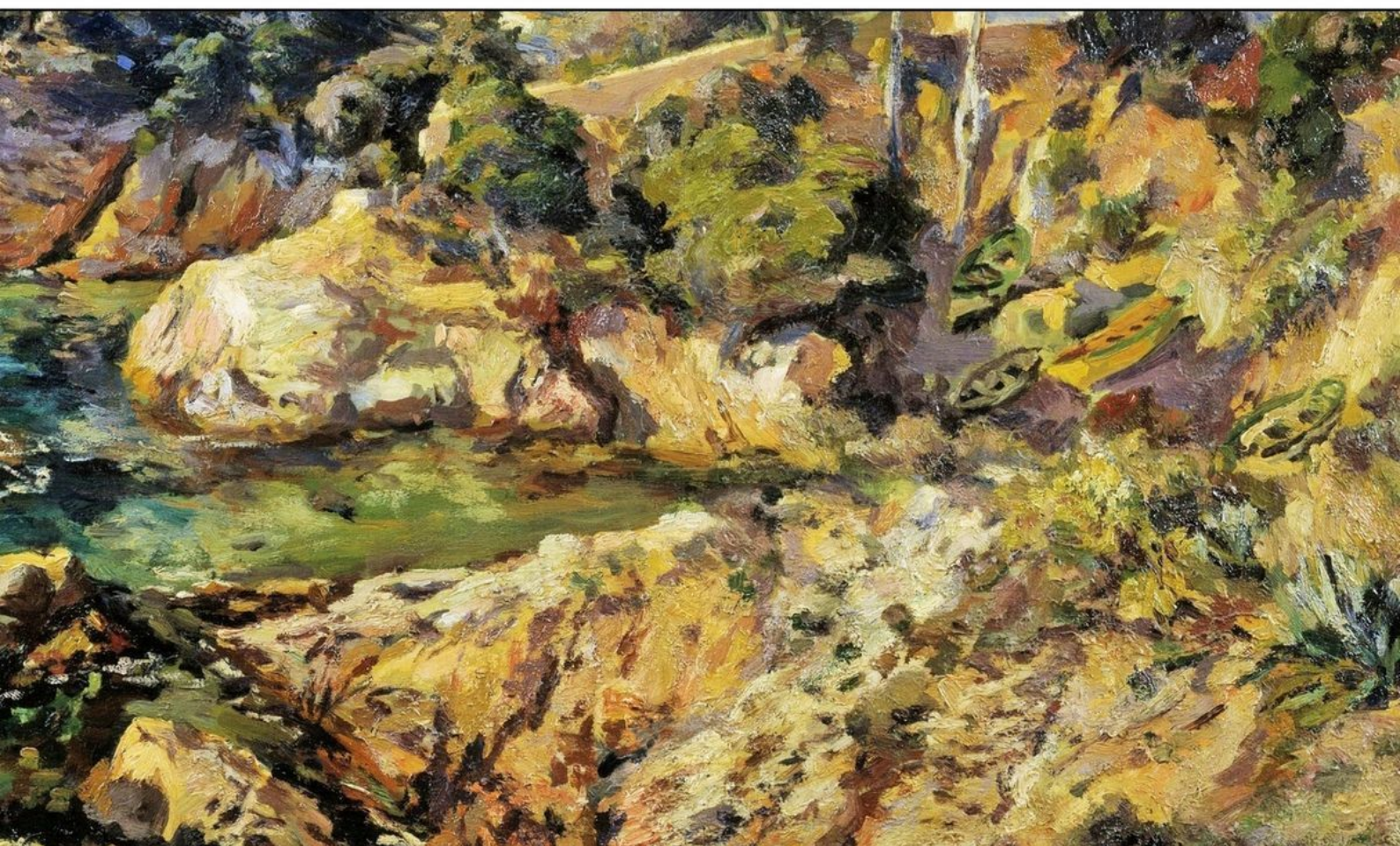


Амаяк Тер-Абрамянц

*В ожидании
Ковчега*

роман



Амаяк Тер-Абрамянц
В ожидании Ковчега. Роман

«Издательские решения»

Тер-Абрамянц А.

В ожидании Ковчега. Роман / А. Тер-Абрамянц — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-744177-7

Исторический роман. 1918—1922. Развал русского Кавказского фронта, геноцид армян и сопротивление. Нашествие большевиков и Красный террор, антибольшевистское восстание...

ISBN 978-5-44-744177-7

© Тер-Абрамянц А.
© Издательские решения

Содержание

Пролог, который является началом эпилога	6
Часть первая. Командир Гурген или песенки тетушки Вардуи	11
Слава хмбапету!	11
Гриднев	15
Куколка	18
Песенки тетушки Вардуи	22
Яма (зов мёртвых)	27
Лихорадка	30
Мусульманский рай	33
Беседка	37
Добрый Керим	41
Джамиля	43
Монастырь святого источника	47
Кроткий Левон	52
Конец ознакомительного фрагмента.	55

В ожидании Ковчега

Роман

Амаяк Тер-Абрамянц

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле; се, творю все новое.

Откровение ап. Иоанна Богослова.

© Амаяк Тер-Абрамянц, 2018

ISBN 978-5-4474-4177-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог, который является началом эпилога

Труп грозного Гургена лежал на площади перед церковью. Справа от него, в ряд, лежали его сотоварищи дашнаки-маузеристы. Он был крайним, а за ним – Або, Саркис, Каро, Ваче и другие. Красная армия взяла Город с четвертой попытки. Кто решил отступить – отступили в Зангезур, а здесь остались те, которые не успели уйти или не захотели.

Пространство перед папертью было занято рядами мертвых маузеристов с голыми ногами и синими ступнями. Несмотря на раннюю весну, солнце припекало по-летнему, и животы у трупов начали неизбежно вздуться, отчего все они казались толстяками. На груди у многих горели всунутые в мертвые руки маленькие свечки – у некоторых они уже погасли. Тихо и редко позванивал церковный колокол, а между убиенными ходил в черном маленький горбатенький старичок с блестящей лысиной, окруженной седой порослью, тербил дешевый нагрудный крест и шевелил губами.

Грозный Гурген лежал, и теперь его никто не боялся: ни большевики, ни турки, ни городские обыватели, ни духаник Мамикон. Кто знал своих, тех уже забрали, а эти, оставшиеся, были в основном из других уездов, из деревень. И лишь любопытные к смерти люди пришли сюда, образовав небольшую толпу, и перешептывались. Женщины, морщась, поднимали к лицам платки, мужчины – рукава к носам, чтобы ослабить назревающий трупный смрад, но не уходили, а будто еще чего-то ждали. Иногда кто-то шептал: «Смотрите – Гурген лежит!».

Жара творила разложение и в животе Гургена, грозного командира вольного хумба – отряда. Гнилостные газы, вздув живот, как барабан, нашли слабое место – грызю – следствие позапрошлого пулевого ранения под Сардарабадом. Истонченный грыжевой мешок, подрезанный осколком гранаты, лопнул, и газы с сипом покинули чрево.

Те, кто стояли неподалеку, замахали руками и отошли, но не ушли совсем. Кто-то весело высказался.

Над глазницей Гургена, заполненной подсохшей кровянистой кашей, деловито зудели мухи, свечка догорала, и пламя уже касалось бесчувственных пальцев.

Матрос Жлоба, перевязанный крест-накрест патронными лентами, подошел к мертвому Гургену и поставил свой сапог ему на голову. Сапоги у Жлобы были хорошие, хромовые – он менял их после каждого наступления. Так было на Кубани, так было в Крыму, так и здесь...

Матрос Жлоба покачивался. Он был пьян, но недостаточно и злился оттого, что его поставили здесь зачем-то охранять эти трупы, в то время как его боевые товарищи праздновали победу в винном погребе, который взяли накануне штурмом.

И ведь этот был там! – Жлоба его сразу узнал по отрубленной щеке, за которой белел частокон зуб. Кто его так? – Шашек у красноармейцев в том бою не было – штыки, винтовки, пистолеты... И когда они ворвались в духан, этот уже придергивал щеку рукой, зверем выл, сидел в углу и раскачивался. И молодой солдат Силкин ударил штыком ему в глаз, просто так, в отместку за собственный страх.

– Свиделись! – усмехнулся, покачиваясь, Жлоба, снял сапог с головы и достал из-за пазухи сильно початую бутылку. – Свиделись!

Грозный Гурген молчал, зудели мухи. Жлобе стало скучно. Он поднял глаза и встретился с глазами толпы, в большинстве своем черными, настороженными, молчаливыми, и вдруг почувствовал себя в центре внимания. От него будто чего-то ждали. Мужчины смотрели угрюмо, женщины прикрывали черными платками лица, выражение их глаз было неопределенно-выжидательным.

– *Товарищи!* – Жлоба вытянулся во весь свой богатырский рост и выбросил вверх руку совсем так, как это делал их комиссар Фрумкин. – *Товарищи!* – провозгласил Жлоба. – *Вот теперь, когда мы этих гадов порешили, и начнется счастливая жизнь!*

Толпа молчала, и Жлоба понял, что надо пояснить.

– *Товарищи армяне!* – в этот миг он казался себе солнцем, осветившим все дальние дали. – *Вот и все! Теперь – свобода! Теперь вас никто не тронет – ни, бля, Антанта, ни Врангель никакой!..* – Жлоба икнул.

– *А турки?* – вдруг прозвенел мальчишеский голос.

– *Турки?* – Жлоба расхохотался, – *Да турок мы вааще в бараний рог!..*

– *Э, нет-нет-нет, не так работаете с населением!* — матроса толкал в бок молодой комиссар Фрумкин. Как он здесь появился, да еще в сопровождении двух красноармейцев, увлеченный речью Жлоба и не заметил. Комиссар был молод, красив, его черные глаза весело блестели от победы, от выпитого вина, но где бы он ни был, в любое время суток, хоть среди ночи разбуди, он постоянно чувствовал себя на боевом идеологическом посту, готовым к работе.

– *Не с того конца Жлоба берете, не так, – он бесцеремонно оттеснил гиганта.*

– *Товарищи армяне, трудящиеся! Ваши настоящие враги не турки, а буржуи, капиталисты и помещики! Это они направляют один народ на другой! Простые турки – такие же, как и вы, бедняки, угнетаемые своими помещиками и капиталистами! А скинем капиталистов по всему миру – и будем жить как братья! Товарищи армяне! Да вы хоть знаете, что такое интернационал? ИИ-ТЕР-НАЦИО-НАЛ!* – благоговейно продекламировал Фрумкин, воздев руки к небу. – *Это, когда все люди равны, независимо от нации... «Эгалитэ! Фратэрнитэ! Либертэ!»* – так сказать, товарищи армяне!

Вот в нашей доблестной Красной армии – и русские, и татары, и грузины, и армяне, даже китаец один есть!

– *Пра-пра-правильно, – вдруг пробудился задремавший было Жлоба, – и даже жиды, и армяшки!*

Фрумкин только небрежно пожал плечами и снова продолжил:

– *Товарищи!..*

– *Нет, дай я скажу!* – Жлоба снова рванулся вперед. Ему вдруг захотелось рассказать этим людям о многом. О своих павших друзьях, с которыми мерз в окопах, пил водку, кормил вшей, полз под пулями, шел по грудь через ледяной Сиваш, за которых отомстил... А главное, о счастье, которое он им принес, как матросское яблочко... Однако Фрумкин не пускал: «*Да погоди ж ты!*»

Жлоба попытался протиснуться впереди комиссара, но быстро снова сник. Он уже еле стоял, и все силы уходили, чтобы оставаться хотя бы в относительно вертикальном положении.

– *Товарищи!* – бодро провозгласил Фрумкин – *у нас ведь даже гимн есть, который так и называется – ИИ-ТЕР-НАЦИО-НАЛ! Вы только послушайте... Ребята, споем?* — подмигнул он двум сопровождающим его солдатам.

– *Сми-ирна!* – скомандовал Фрумкин, выпрямившись в струнку, солдаты тоже вытянулись, ударив о землю прикладами.

Вставай, проклятьем заклейменный,

Весь мир голодных и рабов...

– *вдохновенно запел Фрумкин, а вместе с ним и солдаты, белобрысые парни из Рязани.*

Ему нравилось думать о себе как о «железном» комиссаре, однако, между нами, у этого железного комиссара была все же одна слабость – полное отсутствие музыкального слуха. Но как и большинство людей с подобным недостатком, он был внутренне глубоко убежден, что поет замечательно и все дело в том, что пока просто не нашел достойных слушателей.

На втором куплете у поющих солдат сделались такие лица, будто у них неожиданно страшно разболелись зубы, а народ вдруг стал довольно быстро расходиться.

– Да куда же вы, куда? Стойте! – закричал в отчаяньи Фрумкин. Вот так всегда: не успевал он по-настоящему показать всю глубину и мощь таланта, как невежественная публика, склонная к легким базарным куплетикам и любовным песенкам, начинала исчезать!

Площадь стремительно пустела.

– Э-эх! – махнул Фрумкин и тут же был вынужден ухватить за ремень падающего Жлобу. – Да хватайте его, хватайте, – заорал он, обернувшись к солдатам, – один я эту тушу не удержу! А не то упадет, и его вместе с трупами увезут!

Солдаты ловко подхватили Жлобу справа и слева, Фрумкин шел сзади и командовал:

– Тащите его в отряд!

А грозный Гурген молчал: свое вино он уже все отхлебал.

Поднялась пыль, промчалась лихо по площади открытая пролетка, остановилась у церкви. В ней привстал человек во френче с биноклем на груди и, деловито оглянув убиенных (значительная часть из них поверила в обещание оставить им жизнь, сдалась и была на месте расстреляна), с удовлетворением кивнул, потом пальцем поманил вновь появившегося маленького старичка священника.

Попик подошел, перепуганно кланяясь.

– Это что? – ткнул человек во френче на колокольню, с которой время от времени доносился тихий звон.

– Церковь, господин...

– Ты дурак? – спросил красный командир священника, – теперь у нас господ нет, все – товарищи, кроме тебя, конечно, ***ины, и всех попов, кровь из народа сосущих! Я спрашиваю, звонят зачем?

– Мертвые тут, – обвел святой отец руками площадь.

– Ты это свою музыку поповскую кончай, а то враз научим, – рука потянулась к кобуре.

Старик испуганно затрясся, и, увидев его страх, командир добродушно расхохотался.

– Что? Обосрался?! – Кончай звонить, опиум народа, люди после боя отдыхают...

– Слушаю, слушаю, – закивал священник, пятясь.

– Так-то! – строго погрозил пальцем командир и крикнул сидящему впереди красноармейцу: – Балдерис, трогай!

Колокол смолк. Пыль рассеялась.

Некоторое время у церкви оставались только мертвые. Солнце перевалило за полдень, Редкие прохожие старались побыстрее миновать площадь.

Ближе к вечеру подъехало несколько скрипучих телег, влекомых изможденными клячами. Возницы были мрачные и тощие, подстать клячам. И глаза возниц и кляч были печальные и покорные. Рядом с телегами шли, бойко балагурия, красноармейцы.

– Теперь уж закочнели, будет полегше!

– Грузи по двое, как бревнышки!

Грузить начали не с того конца, где лежал Гурген. Телеги уходили одна за одной. Время быстро двигалось к вечеру. От веселого настроения солдат не осталось и следа. Теперь они то и дело переругивались.

– Ну не туда, не туда, мать твою, головой заноси!

– Ноги наружу!

– Да аль им не все равно?

– Положено так...

– Вот и положи свой хрен куда положено! – хрипел некто, приподнимая тело из последних сил на вершину образовавшейся на телеге пирамиды мертвецов.

Солнце уже коснулось края крыши и золотило пыль, стало холодать.

– Не успеем до темноты, ребятаки – одной телеги не хватит!

– Авось да хватит!

С лицом и бородой ассирийского царя возница сидел в белой застиранной до дыр рубахе и равнодушно ждал.

– Так что, из-за одной телеги вертаться? Эй, Аиот, что сидишь, как прынец армянский, а ну помогай!

– Чо говорит там?

– Говорит, телега старая, не выдержит.

– А он ехать лишний раз не хочет по темноте?

– Авось выдержит, – выдержит, куда денется? А ну, наддай, ребятаки, как в последний бой!

Солдаты кряхтели, злились (заслуженный отдых был так близок!), и гора росла и росла. Уже прощальные отсветы исчезавшего за крышами солнца озаряли площадь. На земле оставался последний – хмбанет Гурген. Взялись двое и сразу опустили.

– Тяжел, черт! А ну, ребятаки, подмогни! Высоко кидать...

Четверо самых рослых солдат взяли труп за руки и за ноги, хорошенько раскачав, бросили на самый верх.

Вдруг раздался треск дерева – это сломалась тележная ось, и вся телега с башиной из мертвецов грозно накренилась, и трупы, будто ожив, медленно, потом быстрее и быстрее поползли, заскользили, обгоняя один другого, сваливаясь на землю, в кучу.

– Ну, хватит! – орал разъяренные солдаты. – Пускай до завтра теперь и остаются, а завтра пускай комиссар других дураков поищет!

Ругаясь, они отправились в надвигающихся сумерках к огням, к живым людям, где была вода, чтобы умыться, где были свет, тепло и вино. Стремительно темнело.

А «прынец армянский», вздыхая и тихо ругаясь, выпряг клячу и уходил с площади уже в полной темноте. Еще некоторое время белела его рубаха, слышалось недовольное бурчанье да перестук копыт. И все, наконец, затихло.

Настала холодная ночь. Где-то голоса затягивали пьяные песни, где-то брехали собаки. Несколько бродячих псов приблизились к трупам, но их прогнал появившийся из церкви маленький священник, бросая мелкие камешки, и они быстро исчезли, а может, уже и почувяли что-то неладное. Маленький священник ушел в церковь молиться. Поднялся ветер, луну то и дело затягивали облака.

В церкви было зажжено всего несколько свечей и тлела лампада перед иконой Божьей Матери с младенцем. Священник смотрел на нее жадными черными очами, будто пытаясь выведать последнюю правду, и шевелил губами. Вдруг тревожно и жалобно завывли все собаки окрест, но кроме него никто этого не заметил – люди были или слишком пьяны, или слишком крепко спали. По церкви будто дунуло зимнее дыхание, вмиг загасив свечи и лампаду, и священник, очутившись в полной темноте, сжавшись от ужаса, почувствовал, что происходит что-то невероятное, страшное, и продолжал неистово молиться за всех живущих и умерших со времен прародителя Ноя.

Неожиданно в горе трупов что-то шевельнулось. Из нее показалась чья-то рука и стала шарить в воздухе. Словно кто-то протискивался наружу. Рука выпрастовывалась из кучи все более и более и, наконец, показалось плечо, за ним голова с тянущейся на кожном лоскуте щекой. Скоро весь Гурген вылез из кучи и уселся. Веко неповрежденного глаза дрогнуло,

и мертвый глаз открылся. Выглянула Луна, но не отразилась в нем. Мертвый глаз только принимал, но ничего не отдавал.

Мертвый Гурген повел головой – в ту, в другую сторону. Он был мертв, конечно, но все неистовство, что двигало им, не могло исчезнуть просто так, – оно превратилась в самостоятельную силу, готовую куда-то вести...

А справа от него лежал красавчик Або, тот самый – Иуда!..

Часть первая. Командир Гурген или песенки тетушки Вардуи

Слава хмбапету!

Грозный Гурген был грузен и коренаст: квадрат на квадрате, скала на скале, и низкий глухо рычащий голос его был подобен отдаленному грому над горами. Никого он не боялся – боялись только его, и притихал вольный отряд, когда он, налившись, как кувшин, до горла вином и туговой водкой, смотрел из-под своих сросшихся на переносье лохматых колючих бровей, впивался поочередно в каждого боевого товарища за столом, тарасил черные с красными белками глаза, будто в каждом выискивал измену и предательство, будто Иуду в каждом узревал, а пальцы тянулись к деревянной кобуре маузера, сокращались от злобы, скребя ее. Притихал отряд, отводили глаза: что ему в голову взбредет? – собственную сестру убил за то, что с турком связалась!.. И лишь красавчик Або, сидящий обычно напротив, улыбался ему своей улыбкой-ухмылкой, а черные глаза его бывали, как обычно, цепко неподвижны.

Або был другой – гибкий, как змея, и речь у него текла, шипя и извиваясь, как хищная горная река.

«Что смотришь, Або?» – улыбка, которая раньше ему нравилась, теперь, после опорожненных бутылей, казалась Гургену все более подозрительной и наглой, – а Або не отвечал, а только смотрел прямо в глаза и, как всегда, улыбался.

«Что улыбаешься, Або?.. Ни пуля турецкая меня не достанет, ни штык, ни сабля... а если суждено умереть, так от своего... а может, это ты сзади подкрадешься и, как шакал, ножом в спину! А?.. – Знаю тебя, вижу! Так уж лучше, быть может, мне прямо сейчас тебя!..»

Ярость охватывала Гургена, реальное смешивалось с воображаемым, по лицу прокатывалась судорога, слышался костяной зубовный скрип, рука тянулась к маузеру.

Но Або был начеку и, как только приближался такой момент, он незаметно подмигивал кривому рыжему Сурену, стоявшему позади командира или сидящему рядом, тот незаметно, легким движением снимал с пояса Гургена кобуру с маузером, и рука Гургена лишь впустую шарилась в поисках оружия.

И тогда в ярости Гурген вскакивал, но Або давал сигнал, и все, кто был рядом, наваливались на хмбапета кучей, потому что Гурген был, несмотря на свой средний рост, силен, как вол. Он стращивал с себя эту кучу, но на него вновь налезали. Так происходило несколько раз, пока измучившийся от борьбы Гурген внезапно не засыпал (иногда прямо стоя!). И тогда Ваче из Карабага, всегда полусонный богатырь, взваливал командира себе через плечо и относил спать. И пока он нес тело, круглая голова командира болталась арбузом, болтались беспомощно квадратные крестьянские кисти с воловьими жилами вен.

Да, Гурген никого не боялся. И не было над ним никакого начальства – ни Дро,¹ ни Андраника,² ни Католикоса! И папаха была на нем не овечья, как у большинства, а из тонкого каракуля, как у самого Андраника, и газыри всегда были полны желтыми патронами! Не было над ним ни начальства, ни Господа Бога!

Зато своих в обиду не давал. Один раз ему отказали в месячном довольствии. Он знал, чьи это козни. Это обыватели Города пожаловались Дро на его бойцов, – мол катаются ночами

¹ Драстамат Кананян – видный член партии Дашнакцутюн (Союз), герой национально-освободительного движения армян против турецких поработителей и большевиков, военачальник, министр обороны республика Армения с 1919—1920гг.

² Андраник – генерал Андраник – герой национально-освободительного движения армян против турецких поработителей.

пьяные на пролетках, палят по окнам! Ну и что, было всего раз, когда кривой Сурен пальнул кому-то в окно и разбил чью-то венецианскую вазу! А так только в воздух палили! А разве запрещено в воздух палить? Есть закон, который запрещает в Луну палить? Им, победителям, героям, которые кровь проливали за этих трусов, отсиживавшихся за ставнями и шторками и только в страхе молившихся, когда турки наступали!?

Это, конечно, они, обыватели, хитрые – они давно хотели избавиться от отряда Гургена! Но сам Дро боялся связываться с Гургеном в открытую, вот и придумали в интендантстве, будто запасы закончились.

Но не учли, что с Гургеном так нельзя! – Гурген заслуженный человек, сам Генерал руку ему пожимал! Гурген – народный герой! И никогда не оставит своих бойцов голодными.

Нет довольствия? – Ладно...

Он мог бы разграбить базар, просто отнять у этих торгашей то, что они и сами могли бы принести ему добровольно в качестве благодарности, будь у них совесть. Но он сделал все справедливо, открыто...

Нет довольствия в интенданстве? – Ладно...

В тот вечер он сел в фаэтон, которым правил рыжий кривой Сурен, а рядом скакали на лошадях его товарищи. Заслышав крики и топот коней издали, обыватели торопились прикрывать ставни, прохожие жались к краям улиц, по которым, весело перекликаясь, рысью двигался, время от времени переходя на галоп, его отряд.

Отряд остановился у парадных дверей банка, лестницу к которым охраняли два мраморных льва.

Бойцы спешили, расседлали коней, привязав вожжи к коновязям, а из фаэтона вышел Гурген во всеоружии – в папахе, чохе с газырями, он решительно топал вверх по лестнице, волоча постукивающую через ступеньки длинную шашку и придерживая кобуру маузера. За ним устремился весь отряд – красавчик Або, кривой Сурен, богатырь Ваче и другие...

Солдат охраны, сидящий на табурете у дверей банка с винтовкой меж колен, смолил самокрутку и будто не замечал их.

Рабочий день в банке уже заканчивался. Здесь было полутемно. Красный шар солнца заглядывал в окно, и хрустальные подвески люстр тускло поблескивали.

Банковский служащий, немолодой человек в очках, сидел в кассе, вписывая что-то в журнал. Два тощих босых мальчика семи и десяти лет сидели неподалеку у окна. Банковский служащий был из беженцев, а мальчишки – его сыновья: они жили здесь же, в банке, поскольку идти им было некуда. Дети с настороженным любопытством смотрели на вошедших вооруженных людей в папахах, заполнивших пространство шумом голосов и шагами. Никто из вошедших не обратил на них внимания – весь город был переполнен голодными беженцами, оборвышами, потерявшими родителей, просящими подаяния или что-то подворовывающими на рынке. Жители уже привыкли к этим ждущим, молчаливо просящим глазам, с которыми сталкивались повсюду, выходя из дома. Утром детей часто находили мертвыми, и специальная телега собирала их тела, отвозила на кладбище, где их сваливали в общие ямы, поливали хлоркой и закапывали.

Ваче и Хачатур быстро встали у дверей банка, чтобы не допускать посторонних. Гурген подошел к конторке, банковский служащий поднял на него лицо, поправил очки.

– Барэв дзэс!³ Чем могу Вам служить, уважаемый?

Гурген локтем оперся о конторку и широко зевнул, показав ряды крепких желтых зубов.

– Я хмбапет Гурген, слышал о таком?

– Да, уважаемый, кто не слышал вашего славного имени?

Хмбапет довольно ухмыльнулся:

³ Добро вам, здравствуйте (арм.)

– Моему отряду необходимо десять тысяч!

– Сколько? – очки дрогнули.

– Десять тысяч, – говорю – ни больше, ни меньше! Я знаю, сегодня у вас наличность есть. Служащий мелко закивал, задрожал.

– Но я... Я не могу вам выдать без соответствующего документа...

– Документ? – Гурген внезапно расхохотался, хлопнув себя по лбу, – ну, конечно, а я-то забыл! Ну, бери тогда бумагу, писарь, пиши, а я подпишу...

Дрожащей рукой, под диктовку, служащий выводил каллиграфическим почерком буквы на бумаге, однако слегка разбрызгивая чернила и нервно окуная перо в чернильницу.

– Я хмбапет Гурген Аршаруни изымаю на нужды отряда положенные мне деньги – десять тысяч.

Записал?

– Сейчас, – кивнул служащий, – еще число надо указать.

Гурген милостиво кивнул, а затем вытащил бумагу у кассира и стал рассматривать красивые, загадочные, ничего не говорящие ему буквы. Нахмурившись, он делал вид, что читает. В его родном селе была трехгодичная церковно-приходская школа, где священник обучал началам армянской грамоты, счету и Закону Божию. Дальше буквы «А» Гурген грамоту не осилил и вместо учебы предпочитал днями напролет скакать по горам на жеребенке, подаренном на свою беду сердобольным родителем в день десятилетия, ставить силки на птиц и зайцев... Не помогали ни уговоры, ни битие, и несчастный отец в конце концов махнул рукой на сына: «Пастухом будет!». Но с течением времени знакомством с этой единственной буквой Гурген все более втайне гордился, она была как бы преддверием в какой-то загадочный, сияющий непостижимый мир, в который он уже сделал первый шаг, и несколько раз давал себе зарок обучиться грамоте, но жизнь не оставляла на это времени.

Он знал, что в таких случаях ставят подпись. А поскольку его фамилия начиналась именно на эту букву «А», он нарисовал ее ниже текста и протянул бумагу кассиру с удовольствием, будто совершил меткий выстрел.

– Теперь все в порядке? – ухмыльнулся Гурген.

– Уважаемый хмбапет, – однако, дрожащим голосом возразил служащий, – этого недостаточно для такой большой суммы, нужна еще печать...

Гурген нахмурился.

– Так тебе слова хмбапета недостаточно! Тебе бумага нужна! Ты и бумагу получил... Тебе этого недостаточно?

– Уважаемый, меня выгонят с работы, а с детьми мне идти некуда...

Гурген грозно надвинулся, вытащил маузер, взвел курок и приставил дуло ко лбу кассира так, что тот почувствовал кожей холодное металлическое колечко.

– Ну, а этого теперь достаточно!?

– Достаточно, теперь совершенно достаточно, уважаемый – успокаивающе замахал руками кассир.

Або раскрыл мешок, а кассир начал выкладывать на прилавок пачки денег.

– Больше того, что нам должны, мы не возьмем! – гордо провозгласил хмбапет.

Або деловито пересчитывал пачки, и они исчезали в мешке. На всякий случай все были начеку – вытащили маузеры, взвели курки и пристально озирались – солдат-охранник куда-то подевался!..

Заполнив мешок, ватага двинулась к выходу, провожаемая испуганными детскими глазами.

Назад возвращались шумно и весело. Мчалась под уклон пролетка, цокали копыта лошадей. Всадники пару раз пальнули в воздух. Кажется, сама луна хохотала!

- Слава хмбапету!
- Ура Гургену!
- Кто еще заботится так о своих солдатах?

Завтра будет все – виноград, шашлык, женщины!.. А пока в винный подвал к Мамикону! Хорошее вино у Мамикона. Будем пить, праздновать победу до утра! Где зурначи?..

Обыватели задергивали шторы плотнее, ежились, заслышав на улице шум. «Снова Гурген гуляет! – вздыхали. – Когда ж это кончится? Чтоб его черти забрали!» А лежащие у стен беженцы провожали кавалькаду потусторонними, равнодушными взглядами, устремленными из полунебытия.

И вино лилось рекой. И кривой рыжий Сурен то и дело бегал вниз пополнять из карасов пустеющие бутылки. И весело бляля зурна, дружно хлопали ладоши, и кривой Сурен, сбросив овечью папаху, плюнув на банкноту, прилепнул ее себе на неожиданно высокий, как дыня, лоб и пустился вприсядку под общий хохот и хлопанье в ладоши.

И Гурген, когда начинал пить вместе со всеми, поначалу веселел, казалось, еще немного, и мир превратится из черно-белого в цветной, каким он был «ДО ТОГО», и что он пережил и перевидал, покажется полусном, который можно забыть, как забывается дурной кошмар, когда встряхнешь поутру головой и умоешь лицо ключевой студеной водой. Но то была лишь временная иллюзия, и с новой чаркой вдруг начавшие выламываться откуда-то куски прошлого становились реальнее всей этой окружающей его шутовской свистопляски. Он пил, чтобы забыться, дать душе утонуть, топил прошлое волнами алкоголя, а оно снова всплывало, совсем не цветное, а черное по преимуществу, с растекающимися по черному фону багровыми и красными ветвями... И багрового, алого становилось все больше, оно затопляло все, и лишь тогда он будто в яму проваливался.

Гриднев

Начиная с 1914 года, когда разразилась Мировая Война, дела России на Кавказском фронте обстояли гораздо лучше, чем на Германском: русские части успешно наступали и эмиссары правительства Турции обратились к армянам с предложением поднять восстание в тылу русских войск. Они обратились к тем, кого сотни лет угнетали, грабили, убивали – не считали за людей. Армяне ответили твердым отказом. С Россией они связывали свои надежды на свободу, жизнь, человеческое будущее.

И тогда с 1915 года на территории западной Армении, а далее и везде, куда только достигали турецкие аскеры и их союзники кавказские татары, началось то, что армяне назвали Метц Ехерн – великим злодеянием, большой резней или Цехоспанутюн – уничтожение нации, а в 1944 году, после трагедии европейского еврейства, Шоа – катастрофы, Холокоста – всеожжения, получило более понятный европейцу юридически-научно звучащий термин, происходящий из латинских корней: геноцид – физическое уничтожение народа по единственному признаку – национальному.

Метц Ехерн взломал армянскую историю на «до» и «после», оставив навсегда глубочайшую травму в национальном самосознании армян.

Организованное младотурецким правительством планомерное и систематическое уничтожение армянского населения дало возможность проявиться всему низменному и лживому, что было в человеческой натуре. Но турки уничтожали армян не хладнокровно безжалостно, шизофренически последовательно и аккуратно, как это делали с евреями позже немцы, а с азиатской горячностью, наслаждением и большой выдумкой. Пустить пулю в затылок, повесить, заколоть штыком – это слишком просто. Вот отрезать голову, облить керосином и сжечь заживо, женщину изнасиловать на глазах собственного связанного мужа и детей, отрезать половой член и затолкать в рот жертве... – да всех «веселых» задумок восточного человека и не перечислишь! Странно – та рука, которая разбивала голову прикладом армянскому младенцу потом ласкала и гладила голову собственного ребенка!..

Конечно, часть солдат просто выполняла приказы без всякого удовольствия, а были даже среди турок те, немногие, которые укрывали армян, рискуя собственным благополучием и даже жизнью. Те, история о которых еще не написаны (да и вряд ли будет написана), но деяния которых все еще позволяют сохранить какую-то надежду на человечество.

За годы войны, во время наступления русской армии, в которую он был призван, Гурген навиделся последствий Метц Ехерна – сожженные армянские деревни, распятые мужчины с отрезанными половыми органами, отсечённые головы на древках, изнасилованные женщины с закованными раздвинутыми ногами и перерезанным горлом, изуродованные трупы детей, стариков и старух, объедаемые голодными псами. Он и другие армяне, служащие в кавказском корпусе повидали это! Они видели истощенных беженцев, рассказывающих вещи невообразимые, творимые турецкими аскерами... безумных женщин, упрямо несущих мертвых детей... И сердца Гургена и его товарищей вновь и вновь наливались ненавистью к тем, кто губил его народ, а иные каменели, немели в запредельном безразличии и такие живые мертвецы были уже подобны заводным куклам... Но русская армия наступала, и это вселяло в армян надежду.

Но в 17 году, после того как в России произошла революция и «белый царь» был низвергнут, победоносный Кавказский фронт остановился. Обессиленные турки тоже не рвались в атаку, и фронт стоял месяц за месяцем, не двигаясь ни в ту, ни в другую сторону – боевые действия практически прекратились.

В русских частях, как в Европе, так и на Кавказе началось и набирало силу невиданное демократическое движение: солдаты сами выбирали командиров! А неугодных офицеров изго-

няли или поднимали на штыки! И любой приказ офицеры теперь должны были согласовывать с комитетами советов солдатских депутатов.

На бочку перед толпой солдат вылез коренастый, известный всем горлопан Васька Дундуков.

– Хорош, братва! – орал Дундуков. – Теперича наша власть! Революция! Свобода! Воля! Мы, солдаты, вольны командиров выбирать: кого захотим – того и поставим. А прежних, царских – долой! Вон наш поручик Гриднев, ****ина, плакал-то, когда царя-батюшку тю-тю... Надеть его тю-тю... менять! Предлагаю, братцы, себя! Я ль с вами вместе из одного котелка не хлебал? Я ль с вами в атаку не ходил, я ль в окопах с вами вшей не кормил? Кто как не я, братцы, нашу нужду солдатскую знает?

А перво-наперво, какая нам нужда воевать? Нас царь-батюшка сюда прислал, а теперь и Керенский тож толкает: воюй!.. А то, братцы, не наша война – то царская, я вам скажу!

Толпа одобрительно гудела.

– И чего мы в этих горах не видали? На кой ляд они нам? У нас дома в Расее женки с детушками, земляца не пахана! Я так скажу: турка тоже человек! Турка тоже воевать не хочет! У него тоже детушки, и свои богатеи его воевать шлют. Вот с германского фронта кореша писали – с немцем тама братаются – винтяры в землю, выйдут наши и они на полосу, и давай на гармошках – кто кого!.. Вот и нам с турком так надо брататься – мы на гармошке – они на дуде!.. И пусть в Россию, домой отправляют! Такая наша воля!

– Домой! – радостно заревела толпа. – В Россию!.. Хватит!

Небольшая группа солдат-армян стояла поодаль и мрачно слушала.

– Пошли к поручику! – махнул рукой Гурген после последних слов оратора, и группа зашагала прочь.

Поручик Гриднев сидел у себя в комнатке за столом в нижней рубаше, в галифе и босой. На столе стояла початая бутылка самогона и стакан. Он перебирал струны гитары и тихо напевал глубоким с хрипотцой голосом:

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые...
Нехотя вспомнишь и время былое...

В дверь постучали.

– Заходи! – рявкнул Гриднев.

Несколько человек, топя сапогами, вошли и стали у стола.

– А-а, – сказал Гриднев, не поднимая головы от гитары. – Депутаты?

– Нэт, мы армяне! – сказал один из вошедших.

– А-а, – Гриднев, наконец, поднял глаза от гитары на солдат. – Тоже себе начальника выбрали?

– Нет, – сказал вышедший вперед Гурген. – Господин офицер, там Дундукова ротным выбирают, мы ему подчиняться не будем: пусть сам с турками целуется...

– Чего ж вы от меня хотите? – с некоторым интересом и недоумением взглянул на гостей Гриднев.

– Господин поручик! Мы только вам подчиняться хотим!

Гриднев усмехнулся:

– Трогательно... трогательно, конечно... Ну, я вас понимаю... Мы уйдем – вам лихо придется! Но... – он неожиданно взял на гитаре аккорд, – не получится!

– Почему?

– Солдаты домой хотят, и понять их можно... А потому они дундуковых будут слушать, а не меня! Да о чем разговор, братцы армяне! Сам Керенский бессилен против этих «депутатов», а вы хотите, чтобы Гриднев все изменил! Социалистов развелось! – добавил он зло, уже себе.

– Мы все равно не будем под Дундуковым! – упрямо заявил Гурген.

– Ну не будьте, а что я могу сделать?

– Ваше благородие! – заявил Гурген по дореволюционной форме, и Гриднев почувствовал, как несимпатична революция этим людям. – Из моей деревни вестей уже месяца два нет. Дайте отпуск!

– А где твоя деревня?

Гурген назвал район. Район был непонятный, горный, без четкой линии фронта. Точнее, не было там крупных воинских частей ни с той, ни с другой стороны.

– А давай я вам всем отпуск дам – пока я еще командир! – вдруг повеселел Гриднев. – Езжайте-ка по домам на недельку-две, а там, говорят в штабе, и армянский корпус будут формировать!

Он достал листы, ручку, чернила и принялся писать.

А на прощанье растрогался и подарил Гургену отличный цейсовский бинокль.

– Ты хорошим солдатом, Гурген, был, недаром Георгия носишь, бери! И вспоминай иногда поручика Гриднева! И быстро к полковнику за печатью!

Куколка

У знакомого поворота дороги на деревню Гурген и Ваче из Карабага придержали коней. Ваче был добродушный и послушный детина и охотно позволял Гургену собою командовать. Они были из одной роты, и Ваче по непонятным причинам увязался за Гургеном.

– Стой! – тихо скомандовал Гурген, поднимая руку: нехорошие предчувствия теснили ему грудь. Он усмехнулся, подумав, что вот его деревня, а он, как вор, боится в нее войти. Однако все виденное за последние месяцы заставляло быть крайне осторожным и ожидать только худшего.

Раздобыв лошадей, больше недели они ехали по прифронтовой полосе, больше напоминавшей пустыню, проходя разоренные и сожженные армянские села – свежие знаки Великой Беды. В некоторые начали было возвращаться беженцы: истощенные, они бродили, как пугливые тени среди развалин. Мужчины воевали на фронтах, подчас совсем не на Кавказе, а в какой-нибудь Галиции. Старики, женщины, дети жили в страхе перед ночными набегами курдов или турок, деревни которых были русскими войсками в общем-то нетронуты, полны мужчин, которых, как мусульман, не мобилизовывали в русскую армию – эти села Гурген и Ваче обходили...

На краю кизилового леса они привязали лошадей.

– Жди меня здесь до заката, если не вернусь – ночью уходи, – распорядился Гурген. Шашку он оставил, подвязав к луке седла, и взял с собой из оружия только маузер, предварительно проверив исправность, наличие патронов в магазине, пощелкал предохранителем... Затем, сдвинув папаху на затылок, двинулся по дороге.

На поле, справа от дороги, дозревали колосья хлебов. В это время обычно начиналась жатва с песнями, трудом от зари до зари, но на поле не было ни одного человека, в лесу не перекликались собирающие ягоды и сучья женщины, и это был дурной знак. Гурген сошел с дороги, стал пробираться по ее краю вдоль кустарника, но это ему быстро надоело, и он решил пойти напрямик – срезать дорогу, перейдя отрог, за которым и должна сразу открыться деревня.

Гурген вышел на голое безлесное плечо отрога. Медленно и тяжело поднимался солдат в папаче с георгиевским крестиком на груди, с маузером в руке. Оглушительно верещали цикады. Он шел по выжженной солнцем колючей траве склона с рассеянными тут и там белыми камнями, на которых грелись черные змеи – почуяв человечесьи шаги, они быстро исчезали в невидимых щелях – шел к синему над гребнем небу, и сердце бухало тяжело, будто орудие прямой наводкой.

Вот глаза его уже на уровне, разделяющем небо и сушу, еще шаг – выступили знакомые с детства силуэты дальних гор, еще пара шагов, земля отступила вниз – перед ним открылась котловина с деревней...

Гурген остановился, чувствуя, как холодеет спина. Вся деревня как на ладони. Нет, она была цела – ни пожарищ, ни разрушений... вот хижина пастуха, церквушка на холме... Дом его – стены его дома белеют за чинарой!.. Но ни звука, ни движения! Ни дымка над очагами, ни мычанья волов, ни звона церковного колокола... Подняв бинокль, он стал рассматривать улицы: ни человека, ни собаки... Что ж, возможно, это и к лучшему, если жители успели покинуть деревню до прихода турок!.. Однако тревога не оставляла его. Гурген рванул ворот, обнажив волосатую грудь, глубоко вдохнул и, как в омут погружаясь, зашагал вниз.

Он шел по улице мимо глиняных заборов, саманных домиков, вспоминая тех, кто в них жил, шел к отчому дому – в этом хмурый пастух Каро, в этом пекшая самый вкусный в деревне лаваш толстая хохотушка Тигрануи... стекла окон мертво смотрели на него, некоторые были разбиты... Многие ворота распахнуты, будто через них только-только телега или всадник про-

езжали. Густые сады с ветвями, клонящимися к земле от тяжести желто-красных яблок, айвы, хурмы и абрикосов на ветвях, будто гостеприимно приглашали войти путника...

Вот и знакомая огромная чинара посреди центральной площади, под которой собирался деревенский сход и принимались все важнейшие для деревни решения, будь то распределение воды по участкам, проведение сельских работ, отправка в армию или на строительные работы молодежи или еще что-либо. Так в первые годы войны большая часть молодежи и мужчин была мобилизована в русскую армию, и среди них был Гурген. Мужчин в деревне оставалось совсем немного – никто и не думал, что русская армия оставит эти приграничные края, что Великая Катастрофа 15-ого года докатится и сюда, потому что все знали, даже турки, что русские – непобедимы!. Кроме того, неподалеку расположился небольшой казачий разъезд, охранявший деревню от набегов курдских банд.

Но вот и белые стены отчего дома под бурой черепичной крышей. Так же, как и у соседей, открыты ворота... Горло сжало, и Гурген шагнул в сад... Когда он уходил, здесь оставались отец, мать, жена с трехлетней дочкой Нунэ. Старшего брата уже не было – с братом они рассорились давно, за год до того, как Гурген ушел на фронт, и тот уехал на север.

Он быстро прошел в сад, поднялся на крыльцо и толкнул дверь – она оказалась не заперта. В комнатах его встретило запустение и картины полного разгрома – здесь уже хорошо поработали мародеры: стены, некогда покрытые коврами, были оголены, отсутствовали, конечно, привезенные когда-то отцом из России часы с кукушкой, мебели не было, под ногами скрипели осколки кувшинов, глиняной посуды. В некоторых местах пол был разворочен, стены пробиты – очевидно, искали тайники с золотом и деньгами. Он пытался обнаружить хоть один дорогой его памяти предмет, но ничего не находил. Лишь в самой большой комнате сохранился длинный с выбитыми досками стол, за которым когда-то обедала вся семья.

В углу комнаты что-то серое шевельнулось. Он поднял глаза и увидел стоящую на задних лапах крысу, внимательно смотрящую не него наглыми желтыми глазами. Он наклонился, чтобы поднять глиняный осколок и швырнуть в нее – крыса моментально исчезла. Однако вместо осколка он нащупал какую-то деревяшку и пальцы ощутили некие формы. Поднял ее к глазам, и сердце замерло: да ведь это была та самая куколка, которую он выточил своей дочери, когда год назад приезжал домой в недельный отпуск, данный за то, что он вынес на себе из-под огня раненного адъютанта генерала Юденича!

Дочка уже подросла, была живая и лёгкая, как солнечный зайчик, круглолица. По утрам она забиралась на широкую волосатую грудь отца и весело щебетала, дёргала за бороду, а он притворно рычал, делал страшные глаза, и она, восторженно визжа, убегала в соседнюю комнату, подглядывала лукаво из-за дверного косяка за отцом и весело хохотала, когда он снова делал страшные глаза. А сердце его переполнялось ранее неведомым счастливым теплом. И казалось странным, невозможным существование одновременное на одной земле двух миров: этого райского, затопленного любовью, и того, фронтового, с его окопами, грязью, вшами, смертью и беспощадной ненавистью... Долгожданная, желанная была Нунэ: целых семь лет Бог им не давал с женой дитя, Астхиг обошла все ближние и дальние храмы, святые места, вымаливая ребёнка, и лишь на восьмой год Господь смилостивился.

Он вытачивал эту куколку из деревянного брусочка целый день – головка, руки, опущенные вдоль тела... Снял дерево, и получились надбровные дуги, щеки, острием ножа выточил глаза, а между ними что-то вроде носа, сделал насечку рта, вырезал на платье пояс и даже крестообразный орнамент на нем... На голове куколки оставалось нечто вроде шапочки, которую носят армянские женщины. Жена, Астхиг, прорисовала углем брови и глаза, рот смазала гранатовым соком, к шапочке прилепила вуальку, а платье выкрасила зеленым травянистым отваром.

Вот было счастье для маленькой Нунэ, лишенной игрушек, которые были у богатых! Она сразу назвала куколку своей дочкой, маленькой Нунэ и таскала ее с собой повсюду, украшая

ее цветами, напевая ей песенки, кормила вместе с собою, даже во сне не расставалась с ней, беря в кроватку, и требовала от родителей всерьез признавать в ней свою дочку или сестренку.

Гурген держал в руках куколку, и воздух остекленел – дыхание перехватило. Это значит, бегство было слишком стремительным, и она даже не успела взять ее с собой... или... думать дальше не хотелось. Он сунул куколку себе за пазуху. Теперь его в этом доме ничего не держало. Он вышел на крыльцо и, глядя на изобильный, так и не дождавшийся садовника сад, вздохнул.

Посреди – гордость сада – черное доброе абрикосовое дерево, под которым на обрубках пеньков перед крошечным столиком так часто вечерами собиралась семья. На столик выставлялись плоды, чай, для мужчин кувшин с вином. Здесь и произошел жесткий спор со старшим братом Петросом во время его последнего приезда с Севера, когда они чуть было не подрались и поклялись никогда в жизни больше не встречаться.

Петрос был старший брат и, в отличие от Гургена, считался «умным», надеждой семьи. Он хорошо учился в приходской школе, и его отправили к родственникам в Россию продолжить образование, а Гурген остался дома землю пахать, в горах охотиться да пасти овечьи отары вместе с пастухом Каро. После окончания русского реального училища Петрос не вернулся и несколько лет прожил в Баку и Тифлисе... Много чужого ума там понабрался, а Гурген с детства мечтал стать фидаином.⁴

И вот Петрос стал насмехаться над братом, мол, фидаины – все это романтическая чушь, а главное – мировая революция – главное уничтожить всех богатых, поделить их добро, и всем беднякам объединиться в мировую бедняцкую державу, где будет все по справедливости и где все равно какой ты нации.

– Но если нас, армян, сейчас убивают, мы ведь и не успеем дожить до твоей мировой революции? – спросил Гурген.

– Надо сражаться не против турок, а против богатых, – упрямо твердил брат. – на другое силы не растрчивать!

– Это на что сил не растрчивать? – взорвался Гурген. – На защиту Армении?

– А если центральный комитет решит, то и так! – жестко отрезал брат. – Какая разница? Наций все равно в будущем не будет!

– Ах, центральный комитет? А это он тебя вырастил? Это он выкормил?

– Я родителей давно в Тифлис зову, там есть, где жить – возражал Петрос.

– Сын мой, – сказала мать, привлеченная громкими голосами мужчин. – Я тебе не раз говорила, мы с отцом отсюда никуда не поедим: здесь могилы наших предков, здесь и нас похоронят...

– Разве можно жить ради могил? – удивился Петрос.

– Ради чести, ради чести надо жить! – закричал Гурген, вскочив, чувствуя, как наивно звучат его слова, и от этого еще более злясь.

– Ну и глуп же ты, – спокойно усмехнулся брат. – люди живут ради счастья! А мы, революционеры, им это счастье дадим! И такие упрямые ишаки, как ты, нам это сделать не мешают!

– Шакал! Ну ты и шакал! – только выдохнул Гурген, он верил, что в тысячу раз более прав, чем его лощенный, выученный в чужих краях братец, в премудрых словах которого скользила ложь, но ухватить ее он не мог. Он только вскочил и вцепился в грудки Петросу.

Тут он и оторвал ворот пиджака братниного городского костюма, пока их не растащили мать и прибежавший на шум отец. Казалось, брата больше всего оскорбило именно это – оторванный воротник.

⁴ Фидаины – участники вооружённой борьбы армянского народа против турецких поработителей.

– Мелкобуржуазный прихвостень! – брезгливо сказал он, стараясь приладить вновь к пиджаку оторванный ворот.

– Петросик, Петросик, не волнуйся, – успокаивала его мать, – я тебе до завтра подошью...

– Ты мне не брат больше, не брат, клянусь! – кричал Гурген, уходя.

На следующий день Гурген проснулся рано, и отправился в сарай точить косу, и только слышал, как брат выходил из ворот, а мать что-то говорила ему вслед: что-то просительное, ласковое, а он недовольно отвечал. Больше о нем Гурген ничего не слышал.

Гурген вышел на улицу. Судьба брата уже давно его не беспокоила. Он думал лишь о дочке, о матери, жене, отце, сестре. Что же случилось с ними? Он брел по улице, оглядываясь, будто ища ответа, но не находил. Окна домов безмолвно смотрели на него.

Песенки тётушки Вардуи

Неожиданно он услышал голос. Какая-то женщина пела. Зашагав на голос, он очутился у раскрытых ворот в сад. Он сразу узнал, чьи эти дом и сад. Женщина пела на армянском.

Из воды возник алый тростник,
Из горла его дым возник,
Из того огня младенец возник,
И были его власы из огня,
Была у него брада из огня,
И, как солнце, был прекрасен лик.

Голос перестал петь и будто начал с кем-то говорить.

Гурген вошел в сад. Здесь жила тетушка Вардуи, известная на всю округу ведунья и повитуха. Тетушка Вардуи собирала в горах лишь ей известные травы, варила настои, лечила от всех болезней, принимала роды, предсказывала судьбу.

Пройдя мимо гнувшихся от обилия красных плодов яблонь, он отвел тяжелые ветви и увидел тетушку Вардуи.

Женщина сидела посреди сада с закрытыми глазами, на стуле с прямой спинкой, и с кем-то разговаривала. Было ей лет пятьдесят, но выглядела она сейчас по сравнению с той, какой он ее видел в последний раз, странно помолодевшей: морщины разгладились, кожа будто сияла.

Гурген оглянулся, но больше никого, к своему удивлению, не увидел.

А тетушка Вардуи, не открывая глаз, продолжала говорить.

– Ну, Рубик, вкусную я тебе кашку приготовила?.. Ай, Рубик, ай озорник! Ну зачем ты опять молоко пролил? Ну вот я маме скажу, я маме скажу, что бабушку не слушаешь. Что смеешься?.. – Не боишься маму?.. Ни маму, ни бабушку?.. Почему?.. Потому что ты хороший? Потому что тебя любят? Ах, проказник! И как ты догадался! Как догадался!..

– Тетушка Вардуи, тетушка Вардуи! – хрипло позвал Гурген и шагнул к женщине.

Вардуи открыла глаза, улыбка сразу исчезла с ее лица, известные на всю деревню голубые глаза смотрели на Гургена строго и недоброжелательно.

– Это я, Гурген, сын Петроса-каменщика! Тетушка Вардуи, вы узнаете меня?

– Конечно, я узнала тебя, Гурген, несчастье твоего отца! Я принимала родственников, кормила Рубика, а ты позвал меня в свой сон. Твой сон плохой, нехороший. Я хочу в свой сон, а ты мне только мешаешь. Ты невоспитанный мальчик и всегда был таким. О, бедный, бедный твой отец!

– Где они, где деревня?! – вскричал Гурген, сжимая кулаки, – Где моя дочь? Сестра? Жена?.. Где мать?

Вардуи снова холодно взглянула на него.

– Какой невоспитанный! – Они все ушли в сад...

– В сад? В какой сад?

– А то ты не знаешь, ушли в сад и о делах забыли! Вся деревня! Им бы только петь, танцевать! А кто будет хлеб убирать, виноград? Абрикосы? На зиму заготовки делать? А им бы только веселиться! Иди, Гурген, иди и позови их наконец а мне пора к родственникам, а то они обидятся и уйдут!

Оставив безумную, Гурген вышел на улицу: если она говорила о саде, то это скорее всего большой сельский яблоневый сад на утесе, где обычно все собирались после трудового дня полюбоваться на закат над горами, отдохнуть, пообщаться, обсудить новости. Старики сидели там и днями в тени яблонь, покуривая трубки, попивая холодное вино, заедая завернутой

в лаваш брынзой, пили родниковую воду, которую им приносили женщины и дети снизу. Там, между садом и обрывом, была большая площадка, на которой справляли свадьбы, вечерами дефилировали компании молодежи (юноши и девушки отдельно!). А если на закате перед обрывом появлялись юноша и девушка, взявшиеся за руки, то это означало для всей деревни известие об очередной помолвке.

Гурген двинулся к краю села. Еще некоторое время до него доносилась песня Вардуи, слов в которой уже нельзя было разобрать.

Песня затихла, и Гурген вступил в сад.

Ветви гнулись от красно-золотых яблок, и он то и дело наступал на опавшие, начавшие подгнивать плоды. В тишине послышался звук упавшего на землю созревшего яблока — шлеп...

Там, где заканчивался сад, открывалась площадка перед обрывом. Все здесь было знакомо с детства: каменные скамьи, на которых восседали старики, зубообразный камень у обрыва, у которого когда-то стоял он со своей невестой Астхиг... вытоптанная поляна, уже, однако, слегка поросшая рыжей колючей травой, мягкие голубые линии отдаленных гор, за которые сколько раз заходило солнце – и сегодня зайдет!.. В этом месте, в этом пейзаже было что-то тихое, умиротворяющее – потому и полюбилось оно не одному поколению селян. Старики философствовали, молодежь шутила и смеялась, люди зрелые по тому, как садится солнце, пытались угадать погоду на завтра, беседовали о хозяйстве и семьях.

Но теперь в этой тишине не было тепла отдохновения после нелегких дневных трудов, в ней тянуло непривычным холодком вечности, вызывающим невольный озноб.

Гурген подошел к краю обрыва и сразу отпрянул.

Лег на землю и, медленно подползая, выдвинул над краем голову. Не такой уж высокий обрыв – метров пятнадцать-двадцать, с красными уступами, переходящий в довольно пологий склон и плоскость долины.

В первый миг ему показалось, что пологость обрыва усыпана выроненными из коробка желтыми спичками. Приглядевшись, он увидел, что спички эти разной толщины и длины, одни проступали явственно, другие полускрыты грязью, зрение, напрягаясь, стало различать елочки грудных скелетов, бугристости черепов... Среди костей копошились какие-то темные существа, развернул черные крылья с траурной бахромой стервятник и вновь сложил их, видимо передумав взлетать.

Гурген вцепился руками в траву, сердце его колотилось о камень.

Он вдруг все понял, увидел, как все это было, почти как наяву.

Аскеры неспеша шли цепью через деревню. Они шутили, улыбались, смеялись. Это была веселая охота. Они не торопились убивать. Просто выгоняли полуголых, едва проснувшихся людей из домов, били прикладами и, как скот, гнали к утесу. В ужасе жители деревни, в основном женщины, старухи с детьми, старики, бежали, шли, ковыляли (кого-то парализованного даже несли на себе!) в ловушку. Такая игра вызывала веселый жизнерадостный смех солдат – ведь те, которых они гнали, были и не люди вовсе, а те, которых полагалось приказом беспощадно истреблять и истреблять! Все это бегство могло продлить бегущим жизнь на какие-то десятки минут, минуты, но инстинкт был сильнее разума, и они бежали, обезумев. А те, жизням которых ничего не угрожало, посмеивались над ними, как над неразумными животными.

И наступил миг, когда людей согнали на утес.

Впереди был обрыв, позади стояли аскеры с примкнутыми штыками, ожидая последнего приказа. Вой и плач...

Офицер скомандовал...

Гурген лежал, скребя пальцами камень, сердце бухало так, будто пыталось разрушить скалу. Он просунул руку за пазуху, нащупал и сжал куколку дочери. Значит там, в этой гни-

ющей куче, и его Нунэ? И отец? И мать? И жена? И сестра?.. – «Твой сон – плохой сон...». —«Нет-нет-нет! – кричала в нем кровь». «Да, да, да, – усмехался кто-то далекий и холодный». Но неожиданно в краснобагровой черноте вдруг замерцала искорка: но ведь Вардуи уцелела! А значит, мог уцелеть еще кто-то – кто-то мог быть в это время в лесу, кто-то в поле, кто-то мог спрятаться, наконец! И почему бы среди этих уцелевших не могло оказаться кого-нибудь из его близких? Крохотная искорка стремительно разгоралась, и скоро весь сухой лес отчаянья был объят пламенем безумной надежды.

Вардуи! Надо немедленно выяснить!

Гурген вскочил и бросился в деревню.

Вбежал в знакомые ворота.

Вардуи сидела так же посреди сада, подставив лицо солнечным лучам, и будто чему-то улыбалась.

– Вардуи! – вскричал он. – Вардуи, очнись!

Она не отвечала, она не хотела слышать.

Он схватил ее за плечи, и руки его в первый миг будто схватили пустоту – между висящей тканью и костями не было плоти, а кости, которые он затем ощутил, были тонки и хрупки, как у ребенка.

– Вардуи, – встряхнул он ее беспощадно, – Выжил ли еще кто-нибудь, кроме тебя, ради Бога, очнись! Кто-нибудь еще спасся?

Она приоткрыла глаза, смотря на него исподлобья.

Неожиданно ее гладкое лицо на глазах стало покрываться трещинами морщин, дробиться на все более и более мелкие кусочки. Так пламя сморщивает гладкую бумагу перед тем как обратить ее в прах. Все скрытые и разглаженные морщины и морщинки проявились, всего за несколько мгновений из сравнительно нестарой пятидесятилетней женщины она превратилась в семидесятилетнюю старуху с мутными бессмысленными глазами.

– Плохой сон... Нехороший сон... – только бормотала старуха, – нехороший мальчик!

– Где они? Где? – он безжалостно встряхивал и встряхивал ее.

– В Саду, в Саду, в Саду...

Выйдя на улицу, остановился и, вытащив деревянную куколку, некоторое время смотрел на нее, будто испрашивая совета. Нет, он не мог уйти просто так, сразу: надо досмотреть. Зачем? Почему? – Он и сам не знал.

Снова зашагал к саду, через сад, где – шлеп, шлеп, – падали созревшие яблоки.

По дорожке, извивающейся по краю обрыва, спустился вниз. Груды костей желтели, на них виднелись куски серой плоти, того, что оставалось от одежды, и грязи. На скалящихся черепах оставались куски кожи и волосы. Детские и взрослые скелеты лежали один на другом, вперемешку, и разобраться, кому какие останки принадлежали, здесь было под силу только Богу. Ветер подул в сторону Гургена, и в голове у него потемнело от смрада.

На куче произошло какое-то движение. Стая одичавших псов-людоедов сверху внимательно наблюдала за явившимся сюда зачем-то человеком. С тех пор как хозяева стали им здесь пищей, они сами привыкли быть здесь хозяевами. Это была сплоченная стая, привыкшая отражать покушения на их территорию шакалов, лисиц и даже волков. Все они были разжиревшие, лоснящиеся, но особенно выделялся среди них самый крупный, очевидно, вожак. Это был экземпляр кавказской овчарки, ростом чуть менее теленка, багровоглазый, с короткими, почти невидимыми ушами и густой гривой, отчего он был больше похож на льва, чем на собаку.

Дожди, солнце, тление, предыдущие пиры почти не оставили им уже пригодного в пищу человеческого мяса, и им больше приходилось лишь обглаживать кости. Стая начинала ощущать первые признаки голода. В чужаке же они почувствовали и какую-то опасность, и одновременно возможность добычи. Вожак зарычал, обнажив клыки, оскалилась и стая, двинулась

на человека полукругом: в центре – вожак, по краям – кто послабее, включая нескольких щенков.

Стервятники сидели на утесах, расслаблено прогнув голые змеиные шеи, и невозмутимо наблюдали за происходящим внизу из-под полуприкрытых пленчатых век.

Как только вожак рванулся вперед, стоя с яростным лаем сорвалась с места и бросилась на Гургена.

Щелкнул выстрел – вожак упал.

Стая, как по команде, на миг остановилась и кинулась врассыпную.

А вожак лежал, всего полтора шага не допрыгнув до человека, и жалобно, совсем как щенок или человеческий ребенок, скулил и плакал, будто помощи просил.

Теперь Гурген узнал его – это был пастуший пес Аракс – гроза волков и всех непрошенных гостей. Из людей он подпускал к себе лишь пастуха Каро, а из прочих лишь пару раз давал себя кормить с рук Гургену.

Скуля и постанывая, грозный пес медленно подползал к ногам Гургена. Узнал ли он его?.. Пес поднял свою большую голову и предсмертно мутными глазами, в которых уже не было ни тени ярости, а покорность судьбе, взглянул на человека, будто признав в нем хозяина, Бога. Волкодав опустил голову, и черный большой нос ткнулся в мысок сапога и, неожиданно, постанывая и скуля, он стал облизывать его широкой тряпкой языка.

Гурген опустил маузер и выстрелил.

Как только голова пса замерла, стервятники на уступах озабоченно зашевелились, в нетерпении раскрывая и складывая крылья, зашуршали, захлопали, вытягивая змеиные шеи, будто требуя, чтобы человек, совершивший для них работу, немедленно удалился.

Гурген поднял глаза на груды костей. В один миг весь мир ему представился бессмысленным бесконечным кругом пожираний и выделений.

– Так вот во что ты, Господи, превратил мой народ!

За то, что мы молились тысячи лет на тебя, за то что сеяли, любили и терпели?

За что ты отнял мою дочь Нунэ? Чем же она успела пред тобою провиниться? Чем успела нагрешить? И после этого святые, мудрейшие отцы говорят, будто ты добр?!.. Ведь сказано – ни один волос не упадет без твоего желания!.. Тогда за что ж ты убил мою Нунэ?

Нет, Господи, нет! Не жди теперь от меня молитв.

Теперь нам не по пути!

Он отвернулся и медленно зашагал прочь, слыша за собой хлопанье крыльев стервятников. Он поднимался по склону, по тропе, преник к роднику на несколько минут, презирая свое тело — даже в такой миг сохраняющее естественные потребности. Отпив, он выпрямился и огляделся – мир стал другим, несмотря на знакомые контуры гор. И вдруг ощутил, что навсегда потерял способность простой бессознательной радости богатству его красок и форм. Весь мир будто стал черно-белым... Нет, не совсем черно-белым, один цвет из его богатой палитры все же ему остался будто в насмешку – красный во всех его оттенках – от алого до багрового – цвет крови, цвет убийства!

С этих минут он изгнал Бога из своей души, но не ведал он, что если в душе нет Бога – его место занимает дьявол – свято место пусто не бывает!

Он и не заметил, что солнце коснулось кромки гор, когда он поднялся на обрыв, в саду уже густели синие сумерки. Он подумал о том, что Ваче, следуя его приказу, наверное, уже уезжает, но подумал равнодушно, безразлично, он не хотел догонять его.

Но когда вошел в деревню, вдруг услышал, что кто-то поет. Голос был мужской и сильный:

Оровел, Оровел...

Вот рассвет зарозовел.

К борозде борозду
В чистом поле проведу.
Дай Бог, чтоб я все успел...
Оровел, оровел!

По центральной улице ехал на лошади Ваче, ведя за собою лошадь Гургена, и распевал во всю глотку.

Гурген вышел навстречу.

– Я же тебе велел уезжать!

– Уезжать? Я подумал, что мне без тебя, Гурген, будет скучновато...

– Эх, дурак, дурак, а если б турки?

– Смотрю – тихо в деревне... Да и что мне бояться? Мы, карабахцы, бояться не привыкли – не то, что вы, феллахи...

– Да, только ума у вас немного.

– Эх, Гурген, а что толку в вашем уме? всю жизнь вы под турками ходили, а над нами, карабахцами, не было, и нет никого, выше нас – только небо! Знаешь, мой дед говорил: тот умнее, у кого пуля быстрее!

– А не пожалеешь, смельчак, что со мною остался?..

Яма (зв мёртвых)

Вино текло в глотки, весело бляела зурна, выбивали ритм барабаны... Кажется, веселье достигало своей кульминации, когда оно таково, что теряется память, когда само уже оно начинает распадаться, раздираться в клочья: кто-то орал-пел что-то невнятное, кто-то пустился в пляс, кто-то выстрелил в потолок... Кажется, все достигли острова счастья и потеряли память... Так слишком раскрученный камень обрывает веревку и летит черт те куда... Только Гурген в эти моменты вдруг мрачнел. Ему вдруг становились противны эти звуки зурны, – то истерично хохочущей, то истерично плачущей, как распутная девка, эти бессмысленные неузнаваемо искривленные рожи, эти пригорошни пустых глаз... И все черное вдруг наваливалось с такой силой, что трескалось, а в ветвящиеся трещины протекало красное, растекалось...

И тогда он неожиданно бил кулаком по столу так, что подпрыгивали стаканы и бутылки. Шум затихал, взоры обращались к нему.

– Все! – объявлял. – Все! Давайте дудук! Где Гаспар?

Гаспар был здесь, он лишь скромно ждал своего часа. Седоволосый старик с красивым крепким лицом. Он сидел и, не обращая внимания на веселье, то ли думал о чем-то своем, то ли дремал и только поблескивало кованое серебро его кудрей. Теперь он открывал свои темные умные глаза, бережно доставал из чехла свою абрикосовую свирель.

– Тихо! – командовал Гурген, и все замолкали. – Гаспар, дорогой, ты один человек на этом Божьем свете, садись ближе!

Тихо начинал пробовать Гаспар то одну, то другую ноту, находил, тянул, будто откуда-то из глубины чрева матери вселенной сквозь ледяные пространства вытягивалась, прорастала пуповина – долгая и тихая нота, пальцы чуть шевелились на трубке, звуки плавно перетекали один в другой, но не спешили, а плыли, плавные, как абрис армянских гор, и затихала ватага... Дудук будто возвращал те времена, когда они еще не научились убивать. Дудук возвращал дорогие образы матерей, сестер, невест, детей, отцов, братьев, друзей – тех близких, которые уж были навсегда потеряны, но в звуках его не было отчаянья, а было грустное торжество, торжество воскрешенья, и те, воскресшие, смотрели из прошлого сквозь стекло времени, будто улыбаясь и жалея нынешних... Мужчины замолкали: им слышались отзвуки зовущих за общим стол родных голосов – и то, прошлое, за непреодолимым стеклом уже казалось реальнее того, в чем они жили сейчас: залитого вином грязного подвала, табачного дыма под тяжелыми сводами, этих новых сотоварищей, объединенных не любовью, а ненавистью к тем, кто осиротил их души, обесценил всякую Жизнь. А звуки будто вливали снова в опустевшие жилы Жизнь, и память из мертвых ям возносил дудук к небесам, а голоса звали, вопрошали...

И Гурген снова вспоминал, как первый раз врезалась в землю лопата...

Лопата с силой врезалась в землю, и металл скрипнул от мелких камешков на ее пути – а ведь здесь, у церкви, была самая мягкая земля в деревне! Могилу они с Ваче приблизительно расчленили у сельского кладбища с уже расколотыми и разбросанными хачкарами (соседи постарались!). Надо было вырыть две длинные траншеи, подобные тем, какие они рыли на фронте. Траншеи должны были перекрещиваться и образовать один общий на всю деревню крест. Они не думали о времени, они не думали о еде – в садах было полно яблок, абрикосов... Пили воду из родника и там же умывались.

Сняв рубахи, они с Ваче рыли Яму. Останки Гурген таскал на себе, Ваче прикасаться к ним не обязан – он и так неутомимо работал лопатой. А Гурген дал себе клятву, что не уйдет отсюда, покуда не схоронит всех односельчан до последнего. Он приготовил волокуши – две длинные жерди, переплетенные лианами, на которые укладывал кости – по два-три скелета и тянул наверх по тропе. Он привык прикасаться к человеческому праху – костям, остаткам

кожи и мышц, к дурнопахнущим комьям слизи, он лишь повязывал себе на лицо платок, когда разбирал останки, но и сам не заметил, что, несмотря на ежедневное по нескольку раз мытье в источнике, пропах смрадом – человек привыкает ко всему! Псы его больше не беспокоили – они лишь издали посматривали на него с опаской, стервятники тоже – все они только ждали пока он уйдет. Но с крысами ему приходилось бороться по-настоящему: наглые, многочисленные и бесстрашные, они вырывали куски гниющей плоти из его рук, кусали. Он бил их палками, но удар редко попадал в цель —твари ловко уворачивались и снова наступали. Поначалу он было пытался приспособить к работе коней, но кони были ездовые, и впрячь их в волокуши стоило труда. Кроме того, они шарахались, почуяв запах смерти, и потому было проще тянуть свой скорбный груз самому.

Что бы он делал без Ваче? Ваче работал как вол, и пока он притаскивал на кладбище свой груз, Ваче успевал как раз прокопать могилу настолько, насколько было необходимо. Гургена удивляло, почему Ваче остался с ним, а не отправился домой – раз он даже напрямую спросил карабахца.

– Э! – усмехнулся Ваче, – да дома меня просто убьют братья Заруи. Затащила меня как-то на сеновал, а тут и они, я думаю, все было подстроено. Ну, говорят, теперь нашу сестру обесчестил: или женись, или мы тебя головой в нужник! Вот я в армию и сбежал! Так что торопиться мне некуда.

Ваче успевал даже присматривать за Вардуи, Вардуи все так же общалась с родственниками, соседями и пела. Раз в день Ваче кормил ее абрикосами с рук, которые та покорно ела, не открывая глаз, и поил водой из родника. Когда ее поили, она иногда открывала глаза, холодно благодарила и снова впадала в транс. С каждым днем она становилась все прозрачнее, воздушнее и будто моложе.

Дни и ночи они не считали – главное было захоронить всех.

Почти на самом дне кучи, когда работа уже близилась к концу, Гурген обнаружил сильно обьединный крысами скелет ребенка четырех-пяти лет. Он приподнял его, чтобы положить на уже не раз обновляемые волокуши, и тут что-то заметил на правой кисти скелета. На том, что оставалось от безымянного пальца, болталось колечко. Косточки отваливались одна от другой, но эта кисть держалась. Гурген присмотрелся: это крохотное серебряное колечко с волнистым узором он подарил своей Нунэ! Сомнений быть не могло – перед ним было то, что оставалось от его дочки. Он сел на камень и некоторое время так сидел, держа в своих руках кисть дочери, больше не обращая внимания на шуршанье подбирающихся крыс.

Осторожно положив останки на волокуши, он, как в полусне, потащил их наверх.

У дома тетушки Вардуи он услышал вдруг ее пенье:

Баю-бай, идут овечки,
С черных гор подходят к речке,
Милый сон несут для нас,
Для твоих, что море глаз,
Усыпляют милым сном,
Упоют молоком.

Гурген остановился и сел, прислонившись спиной к глиняному забору, а Вардуи продолжала петь:

Богоматерь – мать твоя,
Сын ее – хранит тебя.
В церковь божию пойду,
Всех святых я попрошу,

Чтоб распятый нас хранил
И тебя благословил.

«Чтоб распятый нас хранил и тебя благословил» – бормотал снова и снова Гурген, вытягивая волокуши. Он добрался до кладбища, бормоча и напевая что-то невнятное, и Ваче на него посмотрел с тревогой.

– Дочь моя, – давай похороним отдельно! – попросил Гурген.

Ваче только кивнул и снова взялся за лопату.

Лихорадка

Трижды Ваче закапывал его, но каждый раз только до шеи, зачем-то оставляя голову.

– Ваче, – спрашивал он его, – зачем голову оставляешь? – Я ведь умер!

– Так видеть-то ты должен? – удивлялся Ваче.

Гурген вставал, земля осыпалась, и Ваче снова начинал его закапывать. И снова, когда земля доходила до шеи, Ваче удовлетворенно откладывал лопату и закуривал трубку.

– Ваче, ты еще не закончил, – требовал Гурген, но Ваче будто не слышал.

Потом Ваче куда-то исчез. Появились мрачные работные люди с тачками, заполненными глыбами камня. Они наваливали и наваливали эти глыбы ему на грудь, и дышать становилось все труднее и труднее. Он хотел крикнуть им, чтобы они прекратили, но уже не хватало дыхания не только для крика, но и для шепота. И все же каким-то особым образом, не требующим дыхания, он выкрикнул им, чтобы они остановились.

– А нам-то какое дело, – ответил один из людей, не прерывая работу, – нам бы поскорее закончить!..

Жажда мучила его, а он плыл через море, чувствуя благодатную, но недоступную влагу у самых губ. «Так уж лучше я утону», – подумал он и стал тонуть. Пить и в самом деле хотелось меньше, когда он расслабился и стал медленно опускаться в голубую глубину. Вот и песчаное дно, и сидящая на песке Нунэ играет разноцветными камешками, выкладывает буквы и учит грамоте чудных прекрасных, как радуга, рыб.

Она подняла к нему свое круглое личико и рассмеялась, отчего на тугих щечках появились знакомые ямочки.

– Нунэ! – удивился он, – а я думал, ты на небе!

– А небо – оно ведь везде! – развела ручками Нунэ...

Он стоял посреди собора, привязанный к куполу веревкой, а вокруг ходили монахи в высоких острых капюшонах и что-то бормотали на непонятном языке. Он пытался разглядеть их лица, но никак не мог – вместо лиц была какая-то размытость, пустота.

– Поднимайте же, поднимайте! – кричал он им, а они, будто не слыша, все ходили и ходили вокруг, все бубнили, бубнили... Только кресты на их сутанах светились так ярко, что ломило глаза.

Среди этих видений все чаще и постоянное стало появляться одно, устойчивое – сморщенное лицо доброй ведьмы, чем-то странное знакомое, и слышался ее голос: «Сестра твоя жива, ты слышишь, Гурген, сестра твоя жива!»

И на столике возникал кувшин, который он хватал и пил, пил что-то невкусное, но чудесное...

Потом снова все пропадало, срывалось в сумасшедший поток, где разрывались связи предметные, знакомые слова меняли смысл и места, и это казалось естественным, где его посетила мать с лицом сестры, вопрошающая: «Ты жив, Гурген?», и в этом не было ничего удивительного.

– Как ты себя чувствуешь, Гурген?..

Он открыл глаза и увидел над собой это лицо доброй ведьмы, которое приходило к нему будто в бреду, и кувшин на столе, потянулся к нему.

– Выжил, – радостно кивнула кому-то старушка. – Мертвые звали тебя, но ты не пошел за ними...

Гурген, привстав на ложе, жадно пил – на сей раз это была холодная чистая родниковая вода. Отпив, он снова улегся, устремив взгляд вверх.

Рядом сидел Ваче, опустив ручки меж колен.

– Не узнаешь? – спросила старушка, – я Гайкануш, двоюродная сестра твоего отца, тетка твоя троюродная. Бог меня спас... Только я не знала для чего, а теперь знаю... Я в пещере жила, боялась возвращаться. наших убили – всех-всех, а мы с сестрой твоей в лесу находились...

– Гайкануш... – он вспомнил эту одинокую женщину, рано лишившуюся мужа – не успели они оставить потомства. Она редко появлялась у них в деревне, а жила где-то на западе – то ли в Стамбуле, то ли в Смирне.

– А ты семь дней бредил... А теперь гляди-ка – выжил!

– Нет, не выжил, – были его первые слова, – вернулся.

– Ты еще слаб. Ешь сейчас, ешь, – Гайкануш протягивала ему абрикосы, – тебе надо поправиться, а то один скелет остался...

– Где мы? – он удивленно озирался на бугристые каменные своды явно природного происхождения.

– Дома, у меня, в пещере, здесь нас никто не найдет, – тихо рассмеялась Гайкануш. – В деревне оставаться опасно. Твой друг убил турка: мародер из соседней деревни, свою арбу заполнял нашим урожаем. Он был один, но ведь его хватятся и другие придут... А здесь можно пережить зиму до прихода наших и русских...

– А что, сестра моя жива?

– Мы были в лесу, когда все это происходило в деревне, я ее перед рассветом позвала ягоды собирать. Когда увидели аскеров, а за ними повозки – наших соседей турок, то поняли все и бросились бежать. В лесу я ее потеряла.

Что делать? Но недаром я в Смирне 20 лет в турецкой семье прожила, растила детей и убирала по дому, и турецкий язык у меня как родной. А по моей старой физиономии уже сам Господь не определит национальность. Вот я и прикинулась нищенкой, убогой, и стала ходить по деревням турецким, милостыню просить, искала армян, известий о них...

– Что узнала?

– Все-все армяне или убиты, или бежали там где турок прошел. Из армян встретила только несколько несчастных полусумасшедших, бродящих по горам. Приютила одного – парня из Вана. Або его зовут. У него оружие есть, он охотник хороший – вчера кролика подстрелил...

Видела еще священника старого. В церкви старой. Отказался уходить. Он говорил – надо молиться за Армению – только это спасет всех нас. И молится, молится... Святой... Но я тебе больше скажу! Сестра твоя жива и я ее видела и говорила с ней!

– Где она? – Гурген подался вперед.

– Да ты лежи, лежи спокойно, все расскажу... Жива, и ничего ей не угрожает. Однажды я ходила нищенкой по одному турецкому селу. Оно тут – недалеко. Ак-чай. Там слышала как женщины сплетничали, обсуждали муллу, который принял к себе в дом рыжую армянку. Я сразу поняла, что это Анаит! Разузнала о ней потихоньку. В деревне она появилась недавно, живет у сына муллы... говорили, хороший человек. Да и она как хороша! – в деревне на нее заглядывались... Я нашла тот дом, но постучать побоялась. Как узнать Анаит на улице? – все женщины в чадре... И тут Бог меня надоумил пойти к водопаду, откуда женщины воду берут. Там мужчин нет – они лица открывают, воду пьют, умываются... Там я ее и видела! В турецких шароварах, монисто золотое на ней было... Я выждала, когда она вниз пойдет и одна останется и за ней поспешила, догнала, назвала по имени...

– Ну?

– Мне кажется она испугалась. Узнала меня сразу, о родителях спросила, я ей все сказала... Слезы у нее в глазах появились, но тут появились турчанки. Мы только успели усло-

виться на другой день у водопада. Стала я ждать ее у воды, да турчанки испугались: подумали, что нищенка хочет их воду сглазить и стали гнать меня, чуть камнями не побили. Пришлось мне из той деревни бежать.

Она закончила, а Гурген некоторое время молчал, устремив взгляд в потолок пещеры.

– Значит наложница сына муллы? – переспросил он.

– Да, – подтвердила Гайкануш. – Хоть жива!

– Я убью его, – спокойно пообещал Гурген.

– Вай! Зачем? А может, хорошо ей там? – Золотое монисто на ней было!

Гурген в ярости скрипнул зубами. – Ты, женщина, считаешь, что выжить – это главное? Вы считаете, что я выжил, когда у меня отняли все? Нет, я не выжил, я мертвый остался – только двигаться могу. И сестру мою не подарю им!

Он некоторое время лежал, молча, и вдруг спросил:

– А что с тетушкой Вардуи?

– Умерла, – ответил Ваче, – однажды подхожу к ней, чтобы напоить. Она сидит с закрытыми глазами, улыбается. Тронул – упала. Легкая, как листик. Я схоронил ее рядом с дочкой твоей.

– Счастливая... – вздохнул Гурген. – Ваче?

– А?

– Мы всех схоронили?

– Да.

– Дай руку, брат...

Мусульманский рай

Возможно, Бог и создал это место, чтобы у людей, обитавших здесь, был бы повод его благодарить. Деревня Ак-чай была окружена с севера и с востока крутыми живописно-зубчатыми скалами, знойными летними днями они большую часть дня давали деревне тень, а зимой служили надежными стенами, защищающими от жестких северных и восточных ветров. Стекающая с северных гор речка за века нанесла в эту долину из высокогорных лесов ил, и почва была здесь на удивление плодородна. Речка спадала каскадами в озеро, служащее водоемом для домашней скотины. Лошади, козы и коровы наслаждались здесь тенью и теплом, овцы подолгу с удивлением смотрели на собственные отражения, натрудившиеся за день ширококорогие волы дремали, разлегшись прямо у воды.

Женщины стирали белье и брали воду выше: девушки восходили по каменистой тропинке к зарослям кустарника, набирали в кувшины воду и ловко спускались, удерживая их на головах или плечах. Кроме того, у многих жителей были свои собственные колодцы, но самая счастливая вода, считалось, была из водопада.

Из озера вода арыками проходила через сады и участки, потом уходила в пшеничные поля. Сады, почти не требуя постороннего ухода, щедро плодоносили абрикосами, гранатами, айвой, инжиром. Но более всего известен был на всю округу Ак-чай своим виноградом. Его тысячелетняя лоза, по местному поверью, доставшаяся в наследство от самого прародителя Адама, давала особенно вкусные желто-зеленые ягоды с еле ощущаемой кислинкой. На узких улицах, между дувалами, тут и там сохли лепешки навоза. Их убирала лишь тогда, когда они высохали совершенно и годились в топливо для печек. Обилие оставленных скотиной лепешек на улицах воспринималось также как еще один признак благополучия деревни.

Вся деревня сверху, со скал, с ее водопадом, белыми домиками, садами, пирамидальными тополями и изящным минаретом мечети казалась беззаботным райским уголком, хотя, конечно, были в этом «раю» и свои вечные межчеловеческие проблемы – глупые ссоры, внутрисемейный, скрытый от постороннего глаза деспотизм, межсоседские распри, которые, правда, с помощью мудрого кази Магомеда решались, в основном, мирно, но иногда продолжали тлеть угли кровной мести, дожидаясь своего часа. Приходили издалека и большие проблемы – когда Высокая Порта вдруг резко повышала налоги из-за очередной войны, тогда, даже несмотря на плодородие земли, крестьяне победнее начинали голодать и молодые мужчины шли в армию – количество едоков уменьшалось. Многие шли с охотой – в армии сельский парень мог продвинуться по службе или получить неплохую добычу – пленников, драгоценную утварь, деньги. Пленников обычно продавали еще в Стамбуле, утварь и ковры везти через всю страну было опасно и хлопотно, поэтому до аула доходили, в основном, деньги, золото, драгоценные камни... Ну, а к слишком громким причитаньям тех матерей, сыновья которых не вернулись, люди не очень-то прислушивались – кази Магомед объяснял непонятливым матерям, что надо не смущать своими ненужными стенаниями благочестивых мусульман, а радоваться – ведь их сыны, минуя все земные труды и невзгоды, прямоком угодили в рай! И уж вовсе люди забывали обо всем, когда видели и ошупывали чужие золото, изумруды, рубины, драгоценное оружие, которыми хвалились вчерашние воины, их теперешние обладатели, – блеск золота и бриллиантов завораживал, и глаза крестьян восторженно загорались.

Многие, попадая сюда впервые, восторгались красотой этих мест, а местные жители не видели в окружающих пейзажах ничего особенного – они привыкли. И лишь когда отправлялись на войну или в долгое путешествие, эта деревня начинала сниться им, они вдруг ощущали отторгнутую от них ее красоту и обычно старались вернуться сюда, чтобы тут жениться, нарожать детей и умереть.

Нет, это был все же не рай, все было, конечно, в этой деревне, свойственное людям, – и хорошее, и плохое, но, главное, не было одного – того, чего не может представить себе человек свободной непорабощенной страны: каждодневного страха, каждодневного ожидания катастрофы, постоянного ощущения близости беды, опасности, с которой их соседи армяне ложились спать и просыпались десятки, если уже не сотни лет. И потому жители деревни Акчая ходили гордо, распрямившись, дыша свободно и посмеиваясь над осторожными соседями, наслаждаясь этой жизнью настолько, насколько позволяли обстоятельства.

И шла из поколения в поколение все более укрепляемая в сознании сорная трава молвы, будто армяне трусливы, только и могут и должны рабски трудиться и молиться за своего бес сильного Бога, и не думающего их спасти, а турки – храбрый, благородный и гордый народ, и их любит Аллах. И все более ужесточающиеся правила, вводимые турецкими властями, создавали условия, возвращающие это мнение: армянин под страхом смерти не имел права иметь оружие, он был лишен права самозащиты (хотя многие прятали его, на последний случай, предпочитая обычно спасти свой очаг и семью, откупаясь частью урожая или золотом), армянин не должен иметь коня (и это в той стране, которая некогда славилась тем, что поставляла лучших лошадей и конников к персидскому двору!). А что такое на Востоке человек без коня? – это парий, бедняк, человек, недостойный уважения, – мальчишка на коне, и тот выше пешего мужчины.. Армянин при виде всадника-турка или курда был обязан кланяться ему и, наконец, когда Абдул Гамид ввел «зулюм» – террор, любой турок или курд мог по желанию убить армянина, взять его женщину, имущество, самые красивые юноши и девушки отбирались для продажи на невольничьих рынках Стамбула. Время от времени физически уничтожалось армянское население целых деревень и районов... Но и в этих условиях «неверные» продолжали существовать – строить, сеять, создавать семьи!

В общем, складывалась устойчивая парадигма – храбрый вооруженный турок на коне, на стороне которого вся государственная машина с армией и полицией, и «трусливый» безоружный армянский крестьянин, которого надлежало всячески угнетать, грабить и просто убивать.

Казалось, все было сделано для сведения армянина к последней степени рабства, унижения, расчеловечивания – все внешние знаки это подтверждали. И все же вооруженный до зубов всадник-турок, проезжая мимо боронящего неподатливую землю, понимающего, что большей части урожая придется лишиться, согбенного на пашне или в поклоне армянского крестьянина, безнаказанно высмеивая его, знал, что этот презренный нищий армянин не принимает его совсем уж всерьез, несмотря на грозную шашку, власть над его сиюминутной жизнью, – за дырявой рубахой скрывается глубина памяти, которой нет у него под его богатой, пышной, расшитой шелками и бисером одеждой, этот крестьянин помнит, будто вчера это было, о тысячелетней давности временах, когда Армения вдруг стремительно возрождалась и граждане ее ходили с высоко поднятой головой, помнит стародавние песни и легенды, полуистории-полу мифы о своих древних царях, живших и сражавшихся, когда на этих землях и в помине турок не было, хорошо помнит, что и виноградную лозу он передал турку, и умение печь хлеб-лаваш, знает и древние непонятные буквы, и в своем внутреннем упрямстве продолжает молиться своему Богу, а главное, высокомерно уверен, что покорён менее развитым народом, который пришел на эту землю позже (землю, которую уже не за одно поколение сам турок успел так ревниво полюбить!), и эту высокомерную уверенность не выбить даже страхом смерти, и вот это-то внутреннее упрямство и вызывало особенное раздражение. А у турецкого армянина, чем более на него давили сверху, жизнь все более замыкалась, направлялась внутрь – внутрь семьи, внутрь своей души – он приучался быть терпеливым, осторожным, рассудительным, контролировать и направлять свои эмоциональные всплески. Его культура лишь уходила в подполье, в катакомбы души, исторической памяти, в которой он спасал свое достоинство, которые лишь становились все глубже, разветвленнее и фантастичнее...

Да, в том, что кто-то их, турок, смеет считать вторичными на этой земле, на которой они родились и которую успели полюбить, вызывало у турок особую ненависть, и само присутствие армян на этой земле казалось длящимся оскорблением. Добрый турок простил бы им все, если бы эти глупцы армяне отказались бы от своей памяти, перешли бы в их веру, слились с ними, забыли бы собственную историю, сделав ее фрагментом общей, турецкой!.. Но гяуры упорствовали, что казалось совсем необъяснимым. И добрые турки, эмоции которых никто не учил сдерживать, а только распалили и направляли, гневались, раздражались, и все чаще повторяли: не будь армянина на этой земле, этого бельма на глазу, мы жили бы так счастливо!

А вместе с тем в части Армении, вошедшей в Российскую Империю, армяне проявляли совсем не те качества, которые стремились им приписать турки: армянские горцы Зангезура и Карабаха были прекрасными наездниками, многие армянские фамилии входили в цвет русского дворянства, армяне становились талантливыми генералами, государственными деятелями... Военские способности армян севера, служивших в русской армии и прошедших российскую выучку, не уступали воинственности турецкой (да и сами турецкие офицеры в частях, где служили армяне, были вынуждены признать – армянин хороший воин!) ... И не могли турки не чувствовать, как армяне эрзерумские, ванские и прочие с надеждой смотрят на север, на Россию.

Войны никогда напрямую не касалась Ак-чая. Так было и с этой, последней войной. Лишь однажды через деревню проходили русские солдаты. Шли запыленные, усталые, но что странно для завоевателей, никого не убили, не ограбили. Лишь русский офицер в категорической форме потребовал у кази Магомеда четко оговоренное количество фуража для лошадей и провианта для солдат. Кази Магомед распределил требуемый фураж и продукты по дворам, и крестьяне, жутко ругаясь на гяуров (благо те не понимали ни слова!), несли все им сами.

А вечером, когда русские ушли, кази Магомед в мечети произнес яростную проповедь, обещая, что за нанесенное их деревне тягчайшее оскорбление все русские и их дети будут гореть в печах геенны огненной.

В тот совершенно обычный день никто в Ак-чае и подозревать не мог, что со склонов гор за домиками, улицами, подходами к деревне внимательно наблюдает зоркий взгляд, ничего не упуская. Цейсовские стекла бинокля приближали деревню, позволяя разглядеть детали ее повседневной мирной жизни так, будто все это происходило в десятке шагов от наблюдателя: вот старуха мелет в ступе во дворе зерно, а малыш, видимо, внук, тянет за юбку, и она шуточно на него замахивается, мальчишки, бегающие вдоль водопоя и швыряющие друг в друга из баловства комками грязи, женщины в чадрах, стирающие белье у нижнего уступа водопада, а рядом с ними молодой аскер с винтовкой за плечом, гордо выпятив перетянутую кожаными ремнями грудь и выставив вперед ногу в сапоге, что-то им рассказывает (видимо, о своих военных подвигах вещает!), две девушки, откинувшие чадры, несущие кувшины по тропинке вниз, мерно крутящееся колесо мельницы, с переливающимися через него струями, женщины, вяжущие снопы на поле за деревней... Мужчин почти не заметно – в этот полуденный жаркий час они (каждый султан в своей семье) или отдыхают в домах или, лежа на подушках, в садах, беседуют с мужчинами-соседями, попивали чай или кофе в тени, старики в белых и зеленых высоких тюрбанах сидят у мечети на самом солнцепеке, и жара им кажется нипочем, лишь приятно прогревает остывшие с годами кости, а перед ними прохаживаются куры. От дворов, где готовят мясо или пекут хлеб, к небу поднимаются дымки...

Однако эти картины мирной жизни и крестьянского достатка не вызывали у наблюдателя и тени умиления, наоборот – в горле его першила сухая как порох горечь.

Но на некоторых объектах взгляд задерживался дольше обычного: вот два аскера на краю деревни в тени чинары, оставив в сторону винтовки, увлеченно играют, сидя на земле, в нарды. А вот еще один — посреди деревенской улочки разглядывает себя в маленькое круглое зер-

кальце и тщательно расчесывает гребнем черные как смоль, доходящие до ушей усы. Сколько их?.. Особенно долго изучали цейсовские глаза самый большой и красивый дом муллы кази Магомеда: двухэтажный, под железной крышей, в отличие от прочих домов и хижин с черепичными или даже земляными крышами. Густой сад и дом обнесены высокой стеной, так что и сверху не разглядишь, что за ней. Словно крепость!..

Взгляд все щупал и щупал деревню, солнце стало клониться к закату, и из-за края равнины показались облака пыли. Это были многочисленные откуда-то возвращающиеся телеги. Кажется, все население деревни сбежалось их встречать, дети и женщины весело размахивали руками, и только у наблюдателя нехорошо сжалось сердце, а пороховая горечь в горле стала более едкой. Арбы были перегружены виноградом, персиками, яблоками, гранатами, явно нездешнего происхождения... – урожай в разоренных армянских деревнях не пропал даром!

Телеги расплзались по улицам.

Аскеры выстроились напротив мечети. Их было двенадцать человек, не считая офицера, который ими командовал, и охраны на источнике и со стороны поля.

Солнце садилось, все стремились поскорее завести телеги во дворы, и все больше фигур направлялось к мечети.

Высокая фигура кази Магомеда в зеленой чалме вышла из ворот дома-крепости и быстро направилась к мечети сквозь общую суету. Он шел возвещать миру волю и мудрость Аллаха.

Беседка

Кази Магомед и офицер в чине капитана возлежали на невысоких диванчиках, обнажив бритые головы, в беседке посреди сада и курили кальян. Теплый ветерок доносил из темноты аромат роз, к которому время от времени примешивался смолистый кипарисовый дух. Тонкие колонны беседки обвивали стебли винограда с тяжелыми созревшими кистями. Где-то вблизи журчал и прищептывал искусственный ручей. Три розовых фонаря с керосиновыми лампами внутри освещали пространство. В вышине беседки над хозяином и гостем в золотой клетке скреблась канарейка. В глубине сада прокричал свое пронзительное «мяу» павлин.

Тихо побулькивала вода в кальянах, курильщики не спеша наслаждались.

– Ну, уважаемый Магомед ага, – вытащил мундштук изо рта офицер, – у тебя прямо рай! Только гурий не хватает...

– Ну, гурии здесь бывали и бывают, – самодовольно улыбнулся кази Магомед.

– Наложницы? – живо заинтересовался капитан. – та, которая трубки нам приносила, тоже – из гурий? – он шутливо намекал на женщину с обильными морщинами вокруг слезящихся глаз над черной полосой чадры.

– Это моя первая жена, эфенди Балта – сухо сказал кази.

– О, простите меня великодушно, я не знал...

Кази задумался, будто не услышал:

– Двадцать лет назад она была гурией, да еще какой!..

Эфенди Балта промычал что-то неопределенное.

– Но у меня есть еще две помоложе, уважаемый... И от каждой по сыну.

– Женаты?

– Еще нет... Где найти красивых девушек, достойных моего рода – вот проблема...

Впрочем, рассмеялся кази, – я обещал первым женить того, кто привезет с войны больше армянских ушей!

Собеседники добродушно захохотали.

– Все трое в армии?

– Двое, – средний здесь... – Кази затыкнулся.

Появилась морщинистая старуха, что-то шепнула на ухо мулле.

– Да, да, – согласился кази, – иди отдохни, пусть Джамиля тебя заменит.

Вскоре послышалось шуршанье. Возникла женщина в белом платье, в белом платке, шароварах, с яркими карими глазами, и с темно-рыжим завитком, выбившимся из-под чадры. Она несла поднос с чашечками кофе. Двигаясь легко, изящно, и в то же время как-то по особенному скромно, она поставила чашки перед офицером, не глянув ему в глаза, а перед кази, чуть поклонилась. Балта прекрасно успел разглядеть блеск глаз и медный завиток волос, и ноздри у него затрепетали.

– Кто она, уж не твоя ли жена?

– Нет, она сирота. Я ее приемный отец...

– Вот как? – задумался Балта.

– Послушайте, уважаемый кази, как вы исполняете директиву правительства, как помогаете армии избавить край от армян?

– В меру сил, да пребудет с нами Аллах. Правда, после вас, эфенди, остается мало о ком позаботиться, – усмехнулся кази, – в основном собираем за них урожай, за что вам глубокий поклон от всей деревни.

Кази наклонил голову, и его гость кивнул, принимая благодарность.

– Остались ли где еще в окрестностях армяне?

– Благодаря вашим стараниям немного, наши крестьяне поймали лишь трех.

– Да уж и правда, после моих молодцев подбирать мало что придется, – усмехнулся офицер, – Ну, и что вы сделали с пойманными?

Кази пожал плечами, будто вспоминая о чем-то мало приятном.

– Девочку пяти лет продали курдам, с женщиной что-то сделали, ну, а мужчину отдали нашим женщинам... Кажется, они его поджарили... Впрочем, мелочи меня не интересуют...

– Ха-ха-ха, – рассмеялся Балта, – А ведь напрасно, уважаемый, мелочи могут доставить большое удовольствие – что может быть приятнее, чем увидеть мученья врага?..

– Ходят слухи, что какие-то армяне в горах вооруженные. Будто кто-то их видел, – взял чашечку кази Магомед. – Достаточно ли у нас сил защититься, если что? Ведь большая часть вашей роты уже отправлена на фронт...

– Армянские отряды? – рассмеялся Балта. – Да откуда они здесь? Бабы рассказы! Да и если даже несколько бродяг где-то бродят, чего вам бояться – в деревне мой взвод остался, в каждом доме есть оружие.

Мужчины некоторое время молчали, пробуя кофе.

– А что, канарейка не поет? – спросил Балта, взглянув вверх.

– Как всегда, эти бездельники забыли покормить, – проворчал кази, дотронулся до колесика, спрятанного в листве, стал крутить, и золотая клетка медленно опустилась.

Из темноты появилось круглое лицо слуги Магомеда, Селима. Он молча поклонился, не входя в беседку.

– Что тебе, Селим?

– Опять Хасан к Вам просится...

– Чего ему надо?

– Очень просится...

– Знаю, знаю что ему надо, ну ладно, пусти...

Через несколько минут раздался скрип камешков на тропинке, и у входа в беседку оказался немолодой крестьянин с загорелым огрубевшим лицом в белой рубахе и с накрученным на голову пестрым платком.

Увидев, что за важных персон он потревожил, крестьянин растерялся, сорвал с головы тюрбан, прижал его к груди и упал на колени.

– О высокочтимые! О мудрейшие! Да хранит вас всемогущий Аллах! Дай Аллах здоровья и всех благ вам и вашим ближним! Да будет всегда удача, благочестивые, вам в ваших благородных делах...

Кази поднял руку, прерывая пришельца.

– Хватит, хватит, Хасан! Встань! Скажи лучше, что тебе нужно, а лучше я сам скажу – опять за налоги просить пришел? Опять платить нечем?

– О милостивый и справедливейший! Весь год я работал, не покладая рук, этому каждый в деревне свидетель, Но ведь у меня пять дочерей невыданных! Какие из женщин работники?

– Пять дочерей? – заинтересовался Балта.

– Точнее, семь! И ни одного сына! – усмехнулся кази. Он выдвинул кормушку, засыпал в нее зерно, и на безымянном пальце его заблестал гранями крупный изумруд.

– Такова воля Аллаха! – грустно развел руками Хасан. – Двух взяли, да такие же, как и мы, бедняки, – калым все только обещают. Разве это по закону?

– Смех, смех, Хасан, смех – вся твоя жизнь! – жестко заулыбался кази. – Ты мужчина, а причитаешь, как женщина. И это в тот год, когда такой урожай! Когда закрома у других только наполняются!... Два года тебе уже умма налог прощала, не так ли?

– Так, – робко кивнул Хасан.

– Почему ты вместе с другими не ездил по армянским деревням – там был хороший урожай!

– Вол мой, кормилец, болен и стар, брюхо ободрано до крови – боюсь, скоро околет... Что тогда делать мне?..

– А ведь я знал твоего отца – достойный был человек! А ты говоришь, как слабая женщина!

Кази задвинул кормушку, и канарейка бойко застучала клювом.

– Кушай, кушай, дорогая, хоть воду не забыли налить, бездельники... Ах, эти слуги, никогда не сделают, как ты бы хотел сам!

Вот, Хасан, сидит перед тобой достойнейший эфенди Балта, офицер, капитан, не каждый день ты сможешь такого человека увидеть! Эфенди Балта —воин, герой! Сколько сел им освобождено в нашем вилайете от гяуров! Бери свое семейство, еще несколько таких, как ты, бедняков, для которых эфенди Балта старается, и отправляйтесь, скажем, в Веришен... А что, – плодородные места, и строения почти все сохранены, не так ли, уважаемый? – обратился он к офицеру. – А здешние ваши хибары пойдут в счет долгов...

– Веришен – хорошее место, – подтвердил Балта. – Я его освобождал! И живописное – обрыв там красивый с родником и видом на горы, вы это место полюбите!

– Уважаемые, а не осталось ли там армян? Туда два дня назад Мехмет отправился и до сих пор не вернулся!

– Э-э, – сказал капитан, – Мы всех гяуров давно побросали там со скалы, мы прочесали местность, – селения – пусты... Не будь труслив, один турок сто армян победит! Аллах вам поможет!

– Уважаемые, но как же мы будем жить там без... мечети!?

– Ничего, я что-нибудь придумаю, – махнул рукой кази. – Там ведь церковь есть?.. – Ну, со временем перестроите в мечеть, а я нового муллу пришлю... Ладно, ладно, Хасан, не задерживай нас, видишь, какие гости – важные разговоры ведем, а тут ты...

– Благодарю, благодарю за мудрый совет. Да хранит вас Аллах! – сложив ладони, поклонился Хасан и, отвернувшись, зашагал прочь, и еще несколько мгновений была видна его печально сутулая спина.

– Вот, – заключил кази, поднимая клетку, – Не хватает всем места уже в Ак-чае: слишком выросли семьи, детей много, а земли столько же... Хотя глупый и бедный – он всегда и останется глупым и бедным. Так уж Аллах определил: дурак умнее не станет – растратит все богатство, сколько бы ему Аллах ни давал! Кысмет!⁵

Кази вновь расположился на диване. Когда они с гостем допили кофе, он опять хлопнул в ладоши, и с легким шуршанием вновь появилось белое видение. Девушка взяла пустую чашку у кази, затем направилась к гостю.

И в тот момент, когда она наклонилась за чашкой гостя, офицер вдруг особенно пристально посмотрел на нее.

Девушка, подобрав его чашку, пошла из беседки и вдруг, когда она была уже на пороге, офицер резко и повелительно крикнул: «Кангнир! Гай ахчик!»⁶ и девушка внезапно остановилась, как вкопанная. В следующий миг она поняла свою ошибку, чашки полетели вниз, и она зарыдала.

– Армянка! Армянка! – охотничье блестя глазами, захохотал Балта. – Ах, хитрая! Так вот кого ты укрываешь, уважаемый кази!

– Я не армянка! Не армянка! Я – Джамия! – яростно закричала девушка и, подобрав чашки, бросилась прочь.

Кази некоторое время молчал.

⁵ Кысмет – судьба (*турецк.*)

⁶ Остановись, армянская девушка! (*арм.*)

– Продай ее мне! – сказал офицер. – Я сразу догадался, когда увидел ее рыжую прядь: в деревне сказали, что у тебя живет рыжеволосая армянка.

– Нет, уважаемый, я ее уже обещал сыну, – кази помолчал и добавил. – Они скоро поженятся.

Глаза у Балты округлились.

– О, достопочтимый, армянка и даже невеста! Но ты же знаешь установку правительства уничтожить весь этот неверный род под корень!

– Насколько я знаю, оно касается только мужчин... А женщин можно брать... И к тому же, она уже не армянка!

– Как этот так?

– Она приняла ислам, и потом, женщина прощается с прошлым родом, когда входит в новую семью. Она входит в новое через плоть. Ее ребенок, и ее муж ей навсегда будут ближе прежней семьи и прежнего рода. Только женщина умеет менять жизнь, как змея кожу...

– В самом деле, – усмехнулся гость, – это довольно необычно, чтобы эти гяуры меняли свою веру – скорее они предпочитают умереть. А уверен ли ты в ней, уважаемый кази?

– Сказать по правде, я был сначала против, но сын настоял... Любовь! – усмехнулся кази. – Ну что ж, была армянкой – станет турчанкой! Такое не впервой!

– Слушай, Магомед ага, я предчувствую, эта женщина принесет несчастье твоему сыну и роду, лучше отдай ее мне!

Кази нахмурился:

– Уважаемый эфеди Балта, неужто вы не слышали, что кази Магомед своего слова не меняет!

Неожиданно канарейка под потолком запела.

Добрый Керим

Керим был средним из трех сыновей кази Магомеда. В армию он не попал из-за своей хромоты: в детстве вскочил на необъезженного жеребца, тот понес его и сбросил. К радости родителей, мальчик остался жив, но нога была сломана. Кости срослись неправильно, и Керим на всю жизнь остался хромым.

Из-за этого Керим с ранних лет чувствовал свою ущербность в сравнении с другими и не раз задумывался, насколько это справедливо. Искалеченная нога мешала ему принимать участие в мальчишеских играх и забавах, участникам которых ничего не стоило подшучивать над его физическим недостатком.

Зато вынужденные периоды одиночества и физического бездействия вызывали более активную работу сознания и мысли. Керим больше наблюдал, больше думал, чем его сверстники. Арабскую грамоту выучил с пяти лет и уже тогда стал постигать отдельные суры Корана, которые ему подбирал отец.

Кази Магомед, человек суровый, старался не давать повода к тому, чтобы его можно было заподозрить в особой симпатии к кому-то из трех сыновей. Однако в глубине души больше всего любил все-таки Керима. Втайне кази мечтал сделать из него муллу, который смог бы унаследовать его место в мечети.

Несмотря на свою хромоту, Керим был активен, ровен и весел нравом, любил движение, но оно носило несколько иной характер, чем у сверстников. Он пристрастился к одиноким конным прогулкам по окрестностям с ружьем за плечами, и вскоре из него получился хороший охотник. У него был зоркий острый глаз, и он часто возвращался домой с добычей: то птицу какую подстрелит, то зайца, а то и горного козла. А когда в 16 лет привез убитого волка, то стал героем всей деревни.

Своими вопросами при чтении Корана он иногда ставил отца в затруднительное положение. Когда в 1915 году повсюду в Турции началось массовое уничтожение армян, он спросил отца, зачем их убивают. Кази Магомед ответил, что их убивают потому, что они иноверцы и их христианство, подобно яду, отравляет империю, и в подтверждение привел суру из Корана:

«А когда вы встретите тех, которые не уверовали, то – удар мечом по шее; а когда произведете великое избиение их, то укрепляйте узы».⁷

– Но ведь сказано в том же Коране, – усомнился Керим:

«Истинно, и верующим, и иудействующим, и назарянам, и сабеям, тем, которые верят в Бога, в последний день и делает доброе, – им награда у Господа их: им не будет страха, они не останутся в печали».⁸

Родитель тогда ответил в том духе, как и положено отвечать родителям, когда они не знают ответа на вопрос ребенка: мал еще и многого не понимаешь. А точнее, кази сказал:

– Ты еще слишком мало читал Коран, чтобы взять на себя смелость его толковать! Если наше правительство делает так, значит, это нужно!

В то утро Керим, как это бывало не раз, сразу после намаза, закинув винтовку за плечо, вскочил на своего гнедого Карагеца и помчался через деревню. Скоро она осталась позади, всадник пересек поле и только у края леса перевел коня на шаг. Отпустив поводья, он дал коню идти, как тот хочет, а сам погрузился в свои мысли и мечты. Конь, словно понимая состояние хозяина, шел тихо, ступая на павшую листву, почти бесшумно.

⁷ Коран. Сура 7. Мухаммад.

⁸ Коран. Сура 2. Корова.

А Керим любовался осенним лесом, синим небом меж ветвей. Он был счастлив от переполненности души красотой этого дня, но избыток этого счастья переходил в тоску. Томило желание разделить это счастье с женщиной, которая смогла бы его понять.

Строки будто сами собой слетели вдруг с синего неба в его сознание:

Тоскует душа моя, как пустой сосуд,
Когда же ты наполнишь его вином?

Он подумал о том, что вино запрещено Кораном, и усмехнулся.

В ущелье поднимался утренний туман, лес кончился, и конь оказался на краю поляны с высокой желтой травой. Керим поднял глаза и обомлел. Будто сотканная из утренних трав и тумана, изящная и легкая, как привидение, стояла метрах в десяти перед ним косуля.

Она не шевелилась, и он не шевелился. И конь, чужая хозяйина, замер.

Керим смотрел и видел длинный карий глаз косули, женский глаз, в котором были и настороженность, и нежность.

«Неужели я ее убью?» – с сожалением подумал Керим. Но охотничья страсть разыгралась, захлестнув все другие чувства, он сорвал с плеча ружье и, почти не целясь, выстрелил.

Косуля взвилась над травами высоко, будто птица, и исчезла.

«Убил?» – подумал в каком-то полупьяном восторге Керим и, прищпорив коня, был почти в тот же миг на месте, где исчезла косуля...

Ничего — лишь несколько капелек крови на траве...

– Гони! – всадник и конь будто слились. Они промчались через поляну, неслись через лес, опьяненные азартом... Однако скоро Кериму стало ясно, что они потеряли направление, и во рту загорчало от разочарования.

И в этот миг неожиданно услышал стон. Да, это был стон жертвы. Осторожно, сдерживая коня, всадник двинулся на него. Деревья расступились, и он оказался у родника, журчащего меж раскрытых каменных ладоней.

У родника лежала девушка и стонала. Ее маленькие ступни были сбиты в кровь. Простое грубое платье облегло тонкую фигуру. Голова с гривой медно-красных волос лежала на руке, глаза были закрыты.

Керим слез с коня и приблизился к ней, стараясь не шуметь. Будто это и была косуля, готовая в любой момент исчезнуть.

Он наклонился к девушке, тронул ее за руку, глаз открылся и Керим вздрогнул – то был длинный карий глаз косули!

Ни слова не говоря, он легко поднял на руки свою добычу, посадил на коня впереди себя, и они отправились в Ак-чай.

Джамиля

Жены кази Магомеда отпоили и привели в себя девушку настолько, что уже вечером Керим впервые смог с ней поговорить.

– Это рыжая – наверняка беглая армянка, – говорили женщины кази и мать Керима Эсмэ, но для Керима найденная у источника девушка была не армянкой, не гречанкой, не турчанкой – она была прежде всего косулей, превратившейся в человека – тайным знаком Аллаха.

Девушка немного говорили по-турецки, но свое имя называть отказалась.

– Назови меня как хочешь – ты ведь меня спас.

Керим думал недолго:

– Тогда будешь Джамиля – так мою бабушку звали.

Она робко притронулась к его руке, и будто озноб пронзил все его тело.

– Я не хочу вспоминать о прошлом... Можно, я буду считать, что я родилась там, у родника?

– Так оно и есть, – кивнул Керим, улыбаясь.

– Я буду твоя наложница? – покорно спросила девушка.

Керим нахмурился:

– Нет, ты будешь свободной и сможешь сама выбрать себе судьбу. Поживи у нас гостьей, а там, если захочешь, сможешь уйти... – руки Керима сжались, и он, нахмурившись, отвел взгляд. – Я даже тебе помогу... Но сначала поживи немного, хорошо?

Девушка кивнула, и Керим вышел в сад будто окрыленный. В голове лишь стучало: Джамиля! Джамиля! Джамиля!.. Сквозь цветы, листву, ветви он видел лишь ее образ, ее улыбку, водопад медно-красных волос.

Джамиля легко и уверенно шагала вверх к источнику с пустым кувшином на плече. Тропа извивалась, была то пологой, то крутой, и время от времени Джамиля останавливалась, чтобы отдышаться и посмотреть на деревню сверху.

Пока все складывалось в целом даже очень удачно, и главной удачей было то, что Керим ее любит, и она его любит. В этом счастье взаимной любви, в котором они пребывали уже третий день, она чувствовала такую свободу души, которую и представить себе раньше никогда не могла. Три дня назад, когда они сидели в беседке сада, он сказал, что любит ее, и она призналась, что любит его.

Роман их развивался стремительно. Сливаясь друг с другом физически, они переставали чувствовать различие между собой, превращаясь в единый двухголовый четырехрукий и четырехногий организм. Так легко рушились, казалось, непреодолимые границы религий, этносов, полов, самой личности, уходящие в столетия границы вражды, что становилось жутко и весело, и это придавало особенную остроту их ощущениям. В один миг они, как по волшебству, пролетали над неодолимыми Крепостями и Пропастями. Переставало существовать и прошлое, и будущее – и даже то ужасное прошлое, которое она приказала себе забыть, (оно так и не уходило, а лишь отступало и затаивалось).

Глядя на деревню, она нахмурилась: ну что ж, прошлого уже не вернешь и не изменишь, не вернешь родителей, а значит, надо найти в себе мужество отбросить его, обрубить совершенно и жить будущим! Да, надо жить по-новому, устремляя себя в совершенно новую жизнь... Нет, она не будет больше армянкой! Она не хочет быть страдающей и гонимой! Она не хочет этих вековых грустных песен! Она молода, здорова и хочет быть счастливой! Она имеет на это право!

Прошлой ночью, когда они лежали с Керимом, она слегка задремала посреди любовного неистовства, и вдруг ей показалось, что она снова там, будто дохнуло сырой могилой, в кото-

рой она увидела нечеткие расплывчатые черты лиц отца и матери, племянницы Нуне, будто зовущие её, и она, испуганно вскрикнув, проснулась.

Керим, кажется, обо всем догадался.

– Слушай, – сказал он, смотря на нее ласково, – забудь все плохое, что было. Представь – то был сон!

– Да, – сказала она, обнимая его, – настоящее лишь то, что – ты и я, остальное – уже неважно.

Она сумеет отсечь прошлое, как бы оно ни цеплялось за нее, она будет жить будущим, она – сильная! И залогом этого будущего будет, конечно, их с Керимом ребенок!

Она тряхнула рыжей головой, будто отгоняя все плохие мысли.

И она будет за это будущее сражаться, не щадя никого, кто посмеет переступить дорогу, ибо у нее есть оружие – ее Керим!

Конечно, все идет отнюдь не гладко, борьбу предстоит вести и сейчас, и в будущем, но она выстоит! Управлять мужчиной! Ах, как это чудесно, как, наверное, мужчине управлять конем. А она сможет управлять – она видит, какими глазами смотрит на нее Керим – любяще-покорными!

Они гуляли по саду, он много говорил, говорил, как чувствует мир, как любит красоту, говорил о себе, свои мысли сокровенные ей доверял, а она слушала, наслаждалась и изучала его: да, это была тонкая и благородная душа! И до чего чистая!

Конечно, с ее появлением сразу возникли и проблемы: две жены кази Магомед по-женски сразу почуяли в ней соперницу: средняя, мать Керима, Эсмэ, и младшая, уже отцветающая красавица Зарема. Мать Керима возненавидела ее особенно, увидев, какую власть возымела нищая армянская беглянка над ее сыном. От нее можно ждать чего угодно – даже змею в постель может подложить, поэтому надо быть крайне осмотрительной! Бывшая же танцовщица Зарема ревновала к ней лишь как ревнует отцветающая красавица к более красивой и более молодой женщине. Зато добрая старенькая Гюля, наполовину гречанка, стала ее союзницей, уже дважды предупреждая о мелких кознях младших жен, и Джамиля, в знак признательности, дала ей со своего подаренного Керимом монисто золотой.

Но царем и Богом в этом доме был, конечно, кази Магомед. Он был вовсе не в восторге от того, что Керим собирается взять в жены неизвестную женщину. Мало того, поначалу он был категорически против! И дело было не только в армянском происхождении беглянки – она была рыжая, а ко всем рыжим кази Магомед относился настороженно – в отблеске их волос ему чудился отблеск пламени геенны огненной.

– Возьми ее наложницей! – советовал недоуменно. Но тут Керим проявил неожиданную для мусульманского сына строптивость:

– Отец, – сказал он, склонившись в глубоком почтении, – Здесь все решаете вы. Выше вас никого, кроме Аллаха. Но и я потом за себя решу. Если вы не благословите меня, я сделаю единственное, за что вы не сможете проклясть меня: уйду к дервишам постигать Аллаха! Воля ваша!

Кази Магомед не ожидал такого поворота, только крякнул:

– Вот как окрутила тебя!...

Немного подумав, и, возможно, вспомнив свою первую жену – наполовину гречанку, ответил в итоге согласием. «Все пройдет, – успокоил он себя, – жизнь на этом, хвала Аллаху, не заканчивается! А молодая любовь сколь жарко пылает, столь быстро и гаснет...» С тех пор в дела Керима и Джамиля он не пытался вмешиваться, сохраняя в семейном противостоянии нейтралитет.

Отдышавшись, Джамиля двинулась выше: инициативу носить воду из водопада она взяла на себя, и пожилые жены, за исключением Эсмэ, были этому только рады. И ведь вода эта имела особое значение: она предназначалась только для мужчин – кази Магомед и Керима.

Две юные турчанки выше по ручью, завидев ее, стали посмеиваться. Она нахмурилась и грозно взглянула на них. Смех усилился. Одна из девушек брызнула в ее сторону водой, и несколько капель долетели до лица Джамили. Джамили брызнула, что было сил в ответ, тогда в нее полетел камешек, но попал в пустой кувшин. А что, если бы разбил? И ей пришлось бы возвращаться с родника с одними черепками! Какой позор, какая радость для Эсмэ! Джамилю охватила ярость, она стала хватать мокрый с мелкой галькой песок и швырять в шутниц.

– Вот! Вот! Вот! – кричала она, и те отбежали.

– Мы хотели только поиграть с тобой, не обижайся! – прокричала одна из девушек.

Ничего не ответив, она еще раз грозно посмотрела на них и стала заполнять кувшин.

Когда кувшин наполнился и Джамили двинулась вниз, бездельницы еще развлекались, брызгая водой теперь друг на дружку, а кувшины их еще были пусты.

Дорога вниз с наполненным кувшином на плече была тяжелее, и она шла не спеша, осторожно ступая. Справа от тропы был голый склон, спускающийся к деревне, слева к тропе, здесь, на повороте, вплотную подступал кустарник.

Неожиданно кто-то позвал ее из кустарника прежним, не принесшим ей счастья, именем, которое она поклялась не произносить даже мысленно. Вначале она подумала, что ей показалось, но мужской и грубый голос вновь отчетливо позвал:

– Анаит! Анаит! Остановись! Это я, брат твой, Гурген!

Свет померк в ее глазах, ноги и руки обессилели, будто она встретила ожившего мертвеца, и она поставила кувшин.

– Анаит! Анаит! Это я, Гурген, твой брат!

Да, теперь она его узнала и обернулась к кустам.

За поредевшей листвой угадывалась фигура сидящего мужчины, присмотревшись, она увидела и лицо, неузнаваемо обросшее бородой, почерневшее от солнца, с дикими глазами, на голову намотан цветной платок...

– Гурген?! Как ты сюда попал?!

– Анаит, мне сказали, что ты жива и в плену, в этом селении, я приехал освободить тебя!

Ее?! Освободить?! Ей вдруг стало страшно. Беженство, нищета, голод, постоянная угроза смерти... И это называется свобода?

– Бежим, Анаит, бежим сейчас же, я знаю путь и место, где укрыться!

Она лихорадочно думала, что ответить.

– Как ты оказался здесь?

– Некогда рассказывать, бежим, Анаит!

– Нет, нет! – почти крикнула она. – Я боюсь, что нас поймают и убьют...

– Анаит, почему ты не спросила о родителях?

– Я знаю... Их убили?..

– Да, Анаит, их убили турки. Я всех схоронил, Анаит, я дочь свою схоронил, как мог...

– Дорогой Гурген! – взяв, наконец, себя в руки, начала Анаит-Джамили. – Мне повезло, я попала к хорошим и честным людям, я живу в безопасности, под другим именем. Если мне хочешь помочь, то беги, брат мой, отсюда как можно быстрее, беги и не появляйся здесь никогда! Ты и не представляешь, как много здесь аскеров, сотни! – (она намеренно преувеличивала число аскеров, стараясь испугать его). – Они поймают и убьют тебя! Везде ищут армян!.. Прошлого уже не вернешь, Гурген! Беги на север, в Россию, женись, заведи себе новую семью, начни новую жизнь!

– Ты отказываешься бежать?! – потрясенно спросил Гурген.

– Я же сказала, я не могу, я боюсь, и потом, я больна и не вынесу...

– Все равно я освобожу тебя, я твой брат!

– Ради меня! Ради Господа и родителей наших! Беги и не появляйся в этих краях! Сюда уже идут... Беги!

В кустах раздался легкий шорох, и фигура исчезла.

Вверху на тропе показались две юные турчанки с наполненными кувшинами. Завидев Джамилю, девушки опустили кувшины неподалеку.

– Джамия, – спросила самая бойкая из них, – с кем это ты разговаривала, с кустами? –

Они снова прыснули со смеху.

Джамия строго взглянула на хохотушек.

– Там была змея! Я заклинала ее, и она ушла!

– Змея! – воскликнула одна из девушек. – К нам в сад позавчера заползла змея, и брат мой Осман убил ее лопатой!

– Если бы у меня была хорошая палка – никакие заклинания не были бы нужны! – заявила вторая.

– Нет, не говори так, – возразила первая, – палкой их не убьешь – только лопатой или саблей!

– А какое у тебя заклинание?

– Да, скажи, какое? – наперебой затараторили они. – Скажи, и мы сразу станем подружками!

– А такое, – величаво повернулась к ним Джамия, – если кому расскажешь, оно теряет свою силу!

Монастырь святого источника

Исследователь этой страны должен уметь читать между строк. Мировая История как бы умалчивает об Армении, лишь кое-где касаясь ее вскользь, мимоходом. И вместе с тем, если присмотреться, Армения (по большей части, правда, в примечаниях, в сносках), присутствует в большинстве наиболее значительных эпох и событий Мировой Истории. Она присутствует в древнейшем мире Вавилона и Ассирии, между строк эллинистической цивилизации, в истории раннего христианства, магометанской экспансии, крестовых походов, она очаг византийских ересей, она излюбленное направление устремленных на север и запад османских завоеваний, подспудно она – в русском вопросе о Константинополе и черноморских проливах, в английских интересах обеспечения безопасных путей в Индию, в строительстве немцами багдадской железной дороги...

Размытость ее границ, постоянно заселяемых кочевниками, пришельцами, эфемерность и кратковременность периодов самостоятельной государственности не давали возможности и времени выделиться из этого междустрочья в самостоятельные абзацы, а тем более в главы.

Вместо этого она все дальше и шире растекалась по междустрочью мировой истории.

Вот так и получалось, что большинство ее наиболее известных потомков, славных имен писателей, певцов, художников, ученых, военачальников получали развитие и воплощение своих даров в иных краях, обогащали иные культуры – европейские, восточные...

Слишком тесны и неблагоприятны были, видимо, условия этой окраины мира, христианской ойкумены, где все силы надо было отдать на выживание.

Но всегда на этой земле оставались, несмотря ни на что, те, кто вопреки бедам пахал, сеял, растил виноград, рожал, хоронил, пек лаваш в тондирах, вырезал из абрикосового дерева дудук и в короткие минуты отдыха и тишины, под его глубокие и негромкие звуки учился мечтать и видеть над собой звезды, как обещание богатства и благодати Божьего Пути.

Окруженная иноверными агрессивными державами, поработенная ими, она все более напоминала остров во власти циклопов, но культура ее не исчезала, она уходила в подполье, в катакомбы душ, замыкалась от внешних влияний, как замыкался и национальный характер, хотя на поверхности ее могло оседать что-то кавказское, что-то восточное с его дурманом роз и соловьев.

Казалось, Дама Мировой Истории отвернулась от этого клочка суши с его хачкарами, храмами, дудуками... Эта дама предпочитала повседневному труду громкие баталии. А те сражения, которые здесь происходили на фоне мировых, казались ей слишком незначительными – и сколь бы ни решающи они были для судеб здешнего народца – они не влияли сколько-нибудь серьезно на повороты судеб мира.

Однако в своем высокомерии Дама Истории, предпочитающая развернутые батальные сцены, не разглядела главную победу этого народа. Являясь по сути островом в океане агрессивных и более могущественных иноверцев, этот народ не пошел на компромисс, даже частично. Ни одна часть его, ни одна область не перешла ни в огнепоклонство, ни в мусульманство. За полторы тысячи лет он сумел сохранить свою веру, христианскую, пусть архаическую, пусть своеобразную – не в этом главное. Главное – народ за полторы тысячи лет сумел остаться верным Идее!

Джек Харрисон из Оклахомы, авиатехник базы «Энжерлик» тоже считал себя исследователем. Он служил в Турции уже больше полугода и был в восторге от этой страны. За свои увольнительные он успел объездить ее от синего моря до снежных вершин. Сегодня была одна из таких поездок. Теперь он избрал для экскурсии восток страны, несмотря на то что друзья турки предупреждали его об опасности встречи с курдскими сепаратистами. Однако Джек

Харрисон был смелый парень, а когда ты смел, да еще ощущаешь, что за твоими плечами стоит такая великая держава, как США, то бояться каких-то нищих, выглядывающих из глинобитных хижин крестьян, вообще смешно. Да и что сами курды имеют против американцев? Сколько курдов живут в Америке да еще устраивают демонстрации перед Белым Домом!

День был прекрасный, солнечный, дорога великолепная, и Харрисон любовался прекрасными горными пейзажами из окна взятого напрокат лендровера. Сейчас он отдыхал, а за рулем сидел его приятель и гид Али Эджевит. Али Эджевит был добродушный свойский парень и, к тому же, немного знал английский. Брал его собой Харрисон не в первый раз. Вчера они были в каком-то турецком селении, где им показывали национальные танцы, танцы живота. Вчера Харрисон слегка перебрал виски и теперь наслаждался приятным ветерком из открытого окна. На этой высоте даже не требовался кондиционер. Еще угощали его турецким хлебом, который пекут в каких-то ямах, нашлапывая тесто на раскаленные стенки так, что оно становится тонким, как бумага. Правда, в Энжерлике ему кто-то говорил, что хлеб этот не турецкий вовсе, а армянский и зовут его как-то вроде «лав» (во дела – почти любовь по-английски!), но туркам об этом лучше не говорить – обидятся! Харрисон откупорил банку кока-колы и с наслаждением затянулся.

Али притормозил – впереди на дороге в спецкомбинезонах трудились дорожные рабочие. Завидев машину, да еще с американским флажком, который Джек не без удовольствия всегда перед выездом выставлял на капоте, рабочие весело замахали им руками. Встали и те, кто сидел и покуривал. Загорелые радостные лица, блестящие в открытых улыбках зубы... Али о чем-то с ними заговорил, а они столпились вокруг, каждый по своему пытаясь показать свою доброжелательность: махали руками, улыбались, а один даже осторожно погладил капот лендровера.

– Говорят – любят американцев, – перевел Али.

Джек в ответ с достоинством кивнул и, козырнув, белозубо улыбнулся.

– Желают счастливого пути, и да поможет вам Аллах!...

Джек достал пачку жвачки, которая сразу исчезла в чьей-то черной жилистой руке.

Они уже проехали довольно далеко, а рабочие еще радостно махали им вслед.

«Хороший народ эти турки» – в который раз подумал Харрисон. Месяц назад в составе туристской группы он ездил в Армению. Армения ему не очень понравилась – горная пустыня, каких на Среднем Западе полно, да и люди какие-то не улыбочивые, – чего ждать от таких – не знаешь. «Нет, – заключил про себя Харрисон, – турки лучше – веселые, открытые и чем-то на нас похожи...»

Плавным серпантинном машина поднималась в гору. До чего богатая страна: каждый день видишь что-то новенькое – то великолепную бухту, то древнюю мечеть, то остатки эллинского храма, то пещерную церковь в Кападокии... Вот и теперь – на склоне горы возник какой-то храм. Может быть, и христианский, хотя креста не видно, однако своим необычным видом он привлек Харрисона. Кажется, нечто такое он уже видел в Армении.

Джек попросил Али остановиться.

– Чей храм?

Али пожал плечами – христианский, в Турции все есть! И обо всех памятниках старины мы заботимся.

Захлопнув машину, они пошли к храму. Припекало солнце, и вверх идти было трудно. Несколько раз им пришлось остановиться передохнуть.

Восьмигранная коническая крыша храма поросла травой, колонны опутывал дикий виноград.

Аккуратная табличка на турецком и английском гласила, что храм христианский, построен в XI веке.

– А кем построен, кем? – удивился Харрисон, – почему не написано?

Али пожал плечами:

– Столько народов жили в Турции... Жили и христиане – одни остались, другие – ушли... Может, албанцы, может, грузины... Наши ученые изучают.

Харрисон кивнул.

– Сфотографируй-ка меня.

– Эй, да разве не найдем мест получше? Вон чинар, давай я тебя у чинар сфотографирую, и скала там красивый.

– Нет, я хочу у храма, – уперся Харрисон.

Али с явной неохотой взял фотоаппарат.

Харрисон сделал «чииз», и Али щелкнул.

– А теперь ты.

– Я у чинар.

– Ну, как хочешь...

– Зайдем? – предложил Джек, указав на темный полуобвалившийся вход: его притягивало все сколько-нибудь загадочное.

Али отрицательно помотал головой:

– Я лучше покурю, – он достал пачку Мальборо и зажигалку.

– Ну, значит, схожу один! – заявил Джек.

– Я подожду, только осторожнее – змеи...

Харрисон на всякий случай поднял лежащую рядом суковатую палку и вошел в проем.

Али закурил, глаза его с красными прожилками смотрели на дорогу, чинару и дальние горы.

Джек миновал низкий вход и оказался в просторном сводчатом зале с колоннами. Пространство помещения пересекали по диагонали два серебристых столба света, исходящего из боковых окон. Он поднял голову: купол исчезал в сумерках. Каменный пол, видимо, давно не расчищали, и он был покрыт слоем земли и тонкой пыли, которая с каждым шагом взметалась легким облачком, оседая на его армейских ботинках. Здесь было тихо и безлюдно, и он показался на миг себе Индианой Джонсом, ищущим клад в загадочной восточной стране. А что, если и в самом деле тут где-то есть клад?..

Людей здесь, очевидно, не было Бог знает сколько месяцев, если не лет. Джек шел, оставляя в пыли следы, как Армстронг на лунной поверхности, и остановился посреди зала у серебристого луча: тысячи и миллионы темных пылинок вертелись и кувыркались в нем, а все вместе образовывали этот белый столб света. Он ощупал ладонью колонну, у которой стоял: камень был довольно гладкий, слежавшийся, и весь в мелких порах, какие бывают у очень древних камней. Такие строительные камни Харрисон видел только в Риме.

Джек прислушался и неожиданно услышал слабое журчанье воды. Журчанье доносилось из дальнего конца храма, и Джек направился к нему. Здесь был исходящий из скалы, к которой примыкала стена храма, родник. На его месте и, возможно, в честь его и был, наверное, построен этот храм. Орнамент на стене был полустерт и непонятен. Вода, тихо булькая, стекала в каменный желоб, который шел некоторое время вдоль стены, и исчезала в невидимых щелях под камнями.

День был жаркий и, поднимаясь сюда, он порядочно взмок, а здесь стояла приятная прохлада, какая-то особая, древняя – с едва уловимым сухим ароматом этого тысячелетнего пористого камня, плиты которого будто срослись за многие века.

Джек присел на корточки и, опершись руками, наклонился и стал с наслаждением пить холодную воду, в которой дрожали мелкие камушки, случайно попавшие на дно желоба. Вода приятно охладила грудь, будто стекая с подбородка на рубашку.

«Благословенный источник!» – подумал Джек, поднимаясь на ноги и вытирая губы рукой.

Неожиданно он почувствовал, что рядом с ним кто-то присутствует. Он поднял глаза и увидел по другую сторону жёлоба высокого человека в черном монашеском одеянии. На груди незнакомца сиял серебряный крест, а лицо с курчавой бородой было молодо и красиво.

– Здорово, старина! – сказал Джек. – А ты как сюда попал?..

Человек улыбнулся Джеку, пошевелил губами, но Джек не расслышал.

– Что-что? – однако в этот миг он неожиданно осознал, что видит противоположный контрфорс храма сквозь этого монаха.

Однако улыбка была доброжелательная, и чувства опасности и страха Харрисон не испытывал. Он испытывал лишь безмерное удивление.

Крест на груди незнакомца ярко вспыхнул, будто в него ударил луч солнца, Джек невольно зажмурился, а когда открыл глаза, фигура исчезла. Джек покрутил головой вокруг, но никого в храме не увидел – и следы были лишь от его армейских ботинок.

Вот в этот момент он и почувствовал страх. Он пересмотрел кучу голливудских ужастиков с мертвецами, призраками, вампирами из Беверли Хиллз, но всегда воспринимал все это лишь как сказку, жуя попкорн и ни на мгновение не сомневаясь, что все это не имеет совершенно никакого отношения к практической жизни. Да и сейчас он ни на минуту не сомневался, что призрака, как такового, не было.

Страх его был продиктован совсем иным: если призрака не было, значит, этот призрак — плод его воображения, а если его воображение выкидывает такие штуки, значит он, Джек Харрисон, болен! – Возможно, это результат перегрева на солнце? Или вчерашнего алкогольного излишества?.. Как бы то ни было, если видение было – значит, это симптом какой-то доселе скрытой, дремавшей в нем психической болезни!

Он болен!!! – Это мгновенное открытие оглушило его, всегда уверенного в своем здоровье, гордящегося им, проплывающего брассом по пять километров без отдыха!.. Первая мысль была о том, что надо немедленно сходить к армейскому психоаналитику Марку Гофману. Но он почти сразу отверг этот вариант: едва узнают, что у него что-то не в порядке с психикой, сразу турнут из армии!

Боже, что же делать!? – лихорадочно думал он. – Возможно, обратиться к какому-нибудь знахарю? Или нет – он лучше слетает в Стамбул, найдет по Интернету хорошую анонимную клинику с врачом-европейцем... Или, еще лучше, – на недельку в Израиль!

Еще минут десять-пятнадцать назад в этот храм входил совершенно здоровый, уверенный в себе человек, а выходил сломленный и подавленный собственным открытием.

Он появился на солнце бледный, пошатывающийся.

– Мистер, что с вами? – Али отшвырнул сигарету и встал навстречу.

– Ничего, ничего, Али, – просто голова разболелась, – Джек ладонями сжал и потер виски. – А поехали лучше домой, Али...

– Слушайте, мистер, – взявшись за баранку, обернулся к нему Али, – если голова болит, можно помочь, – я знаю в одной деревне такого колдуна – он рукою боль снимает, вот так! – Али полоснул лапой пространство.

– Да не надо, таблетку съем, – вяло пробурчал Джек.

– Тут главное – хорошо кушать, особенно фруктов побольше! – продолжал советовать Али... – Это еще от солнца бывает...

– Бывает, бывает... А у тебя, Али, так, между нами, видения какие-нибудь когда-нибудь бывали?

– Ха! – усмехнулся Али, – зачем секрет? Мы ж друзья! – Бывали, бывали, мистер, как травку попробуешь – такие видения, скажу я тебе... такие Гурии приходят... что твоя Бритни Спирс!

– Вот как? – вдруг оживился Харрисон. Он вдруг подумал (и как ему в голову сразу не пришло!) – ведь он целых полтора месяца воздерживался от секса! Полтора месяца после того раза с французкой – а до того еще столько же – хранил верность жене! А ведь сколько раз он слышал от докторов, что от воздержания крыша едет!

Харрисон громко хлопнул себя по лбу, и Али удивленно обернулся.

– Слушай, Али, мне нужен хороший бордель...

– Нет проблем, мистер...

– Только я сказал хороший, понимаешь? Чистый, здоровый, деньги и за тебя заплачу!

– Знаю, знаю, – есть такой на побережье, – радостно закивал головой Али. – К вечеру будем. Хороший бордель! Якши! И девочки там хорошие, новую партию только из России привезли – почти девушки! – причмокнул Али и расхохотался.

И Харрисон все про себя уже решил – нет, он вовсе не подлец, он человек честный. Он все расскажет своей Дори, и она поймет, должна понять, в каких сложных условиях приходится служить – она жена солдата!

А пока туда, к морю, где мгновения оргазма освобождают от всего – и от прошлого, и от будущего! – Якши!

Кроткий Левон

Отец Левон наклонил голову к источнику. Губы сразу занемели. Сделав пару глотков, он снова перекрестился и прошептал в пятидесятый раз за день, как было установлено по обету:

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны чистые
сердцем, ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами
Божиими.
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать
и всячески несправедливо злословить за Меня.
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда
на небесах: так гнали пророков, бывших кроме вас».⁹

Еще раз перекрестившись, он повернулся в глубь храма.

Там, в одном из приделов, грелись у костра фидайны. Их было двенадцать бродяг, встретившихся на дорогах беженских, потерявших семьи, жилье, горевших огнем мести. Бог знает, как и где они уже успели достать кое-какое оружие: кто маузер, кто саблю, кто ружье. И возраст у них был самый разный: от пятнадцатилетнего мальчика курда-езида Насима с косичкой на затылке, всегда оживленного и веселого до крепкого седоусого, лет под пятьдесят, Месропа, бывшего в прошлой жизни обувным мастером, серьезного и основательного человека. Но главным среди них был этот – скала на скале, квадрат на квадрате с глазами, будто льющими изпод лохматых сросшихся на переносье бровей, расплавленный свинец – Гурген. Они явились сюда вечером, когда над горами разразился гром, и снаружи хлестали потоки.

Много веков назад, когда низлежащие равнины и долины были населены армянами, этот храм жил: в нем вершились богослужения, в роднике крестили детей, здесь отпевали покойников... своды его слышали пение ревностной паствы.

Несколько раз разноплеменные завоеватели опустошали этот край, несколько раз край этот возрождался снова. Наконец люди стали постепенно оставлять эти места – кто перебирался повыше в горы, кто вообще уезжал в другие края, страны... И церковь пустовала уже немало веков. Не осталось уже в памяти человеческой имени последнего служившего здесь священника, тем более прихожанина. В ней поселились летучие мыши, с пронзительным писком расчерчивающие пространство под куполом, иногда она становилась пристанищем для зверей или змей, иногда сюда забредал случайный путник – монах, дервиш или пастух, укрывающийся от ливня. Так и случилось, что о церкви постепенно забыли.

Левон набрел на нее около недели назад совершенно обессиленный – к тому же сильно ушиб колено, и ноге требовался отдых. Около ста километров он шел из окрестностей Муша со своей драгоценной поклажей, стараясь избегать турецких деревень, курдских шаек. Он выбирал самые труднопроходимые тропы, ибо то, что он нес, было много важнее его жизни – это было древнее десятого века Евангелие в серебряном, украшенном драгоценными камнями окладе. Он получил это Евангелие из слабых рук дряхлого священника одной из церквей, где

⁹ Евангелие от Матфея 5.3 – 4.

служил его помощником с заветом во что бы то ни стало доставить в священный Эчмиадзин это старинное, намоленное поколениями Евангелие и передать только в руки самому святейшему Католикосу. А тот старик отказался уходить, он остался, чтобы умереть в той церкви, в которой служил почти всю свою жизнь.

Левон нес Евангелие в холщовом мешке, тщательно завернутым в кожу и тряпье, укрывая его от дождей и росы. То ли пять, то ли шесть дней он шел, то взбираясь на кручи, то спускаясь в леса, через заросли которых приходилось продирааться, давно закончилась последняя лепешка, жажду он утолял в горных ручьях. И то, что оставался жив, Левон причислял исключительно Божьему промыслу, хранящему эту Книгу: однажды Он отвратил его от встречи с разбойниками-курдами, в другой раз священник встретил на тропе волка. Волк стоял на тропе и смотрел на человека, а Левон тоже стоял и истово молился, а когда поднял глаза – волк ушел.

И когда его уже шатало от голода и усталости, и колено распухло, а в глазах мутилось, и когда он понял, что дальше идти не в силах, то увидел этот храм, показавшийся ему сначала видением. Здесь Левон вдоволь напился из источника, храм окружали густые заросли орешника — Левон наелся созревших орехов и, почувствовав какие-то силы, нашел укромное место, куда можно было спрятать Евангелие: это была каменная полка, задвигаемая камнем. Возблагодарив Господа, он уснул и спал на голом камне, слегка застланном хвоей, так спокойно, как давно не спал. Так он жил, восстанавливая силы, несколько дней. В одну из ночей, когда над горами разбушевалась гроза, сквозь сон он вдруг услышал армянскую речь и обрадовался. Гром гремел над горами, и они вошли мокрые, но шумные и решительные – таких армян Левон давно не видел. Они были в бурках, папахах, с оружием...

– Что делаешь здесь, святой отец? – спросил его этот, главный.

– Молюсь за армянский народ... – смиренно перекрестился Левон.

Гурген расхохотался так, что эхом ответили приделы и залы.

– Ты опоздал, святой отец, теперь армянам надо сражаться!

– Молиться никогда не поздно, – кротко возразил отец Левон, однако Гурген уже его не слушал, а отдавал распоряжения: кому накормить оставшихся снаружи под навесом лошадей, кому стоять на часах...

Плоть отца Левона так и взыграла от радости, когда он узнал, что у отряда есть убитый кабан, которого они собирались сейчас же зажарить. И в следующий миг ему стало стыдно пред Богом за такую телесную радость, и он про себя несколько раз повторил молитву: «Господи Иисусе, прости меня грешного!...».

Он кинулся помогать этим людям, показал, где источник в храме, где сложены им сухие ветви, которые насобирал, надеясь развести костер (однако спички его отсырели), носил их, куда показали.

С кабана сняли шкуру, мясо разрезали на куски, начали на ветках жарить на открытом огне. Появился из сумок и лаваш.

– А ты куда, святой отец, – усмехнулся Гурген, завидев, что Левон собирается подсаживаться к костру. – Тебя пусть лучше твой Бог накормит, пусть он поступит с тобой так же справедливо, как с армянским народом.

Левон смутился и поднялся на ноги.

– Да что ты, Гурген! – искренне удивился молодой смуглый езид Насим. – Мы же гости у него, он кров и воду дал нам...

Гурген расхохотался:

– Так это я пошутил – садись, садись... может, все-таки твой Бог когда и нам поможет...

Все были голодны необычайно, и скоро от кусков мяса ничего, кроме костей, не осталось.

– Ну, а теперь, уважаемый святой отец, расскажите, как попали сюда.

И Левон искренне, без обмана, рассказал этим людям о себе, и что он несет с собой, и что ему поручено.

– Самому Католикосу? — удивился Гурген.

– Самому.

– Да, – сказал Гурген, вытирая рот рукавом, – видно, это книга действительно ценная.

Принеси хоть посмотреть.

– Листать не дам, – заявил Левон, – а то испортите жирными пальцами – можно только оклад потрогать вашему апету.¹⁰

Левон ушел в дальний придел храма и вернулся со свечой и огромной в серебряном окладе книгой.

Первым взял Гурген, удивленно взвесил ее в воздухе:

– Ого! Куда тяжелее ружья будет! Как ты такую донес? – он отдал книгу Левону, а тот уже из своих рук показал остальным, столпившимся вокруг костра:

– Сколько серебра, только совсем почернело! Его надо отбелить.

– А какие узоры!

– Серебро что – вон видите камни – никак рубины...

Во взглядах засветился священный трепет, многие крестились.

Вот только не было трепета у Або, и не крестился он при виде сей реликвии, а иронически улыбался:

– Вот бы выковырять хоть какой рубин или изумруд, и можно уехать в другую страну и разбогатеть! – словно высказал он мысль, мелькнувшую не только у него.

– А тебе я выковыряю глаз! – пообещал Гурген, погрозив Або блестящим от свиного жира лезвием кинжала. Он вдруг вспомнил, что старая Гайкануш говорила, будто слышала о том, что в Ване Або был известным вором.

– На такую сто баранов можно, наверное, купить! – мечтательно сказал езид Насим.

– А стадо баранов – это мы, армяне! – объявил Гурген. – Которые молились этому Богу тысячи лет. – Он, этот мудрый Бог, за это и привел наш народ на бойню!

Гурген зло рассмеялся, вслед за ним и многие другие. Только Левон молчал, Месроп и Насим молчали...

– Ну, и какая такая мудрость в этой книге, святой отец, может, она посоветует, как нам помочь, почитал бы на ночь, святой отец.

– Что ж, – отец Левон поднял книгу, зажег свечу от костра и пошел в центр залы, к каменной кафедре. На нее он положил Библию. Не загадывая, открыл книгу и начал читать: слова его отчетливо разносились по всему храму – их слышали люди и летучие мыши, изредка очерчивающие сумрак под куполом.

¹⁰ Апет – начальник (арм.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.